



Евгений Евгеньевич Сухов
Царские забавы
Серия «Лихие леты Ивана Грозного», книга 3

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=166023
Царские забавы: Эксмо; М.: 2007
ISBN 5-699-10785-1

Аннотация

Царь Иоанн IV Васильевич недаром получил прозвище Грозный. Немало пролил кровушки грозный государь, как своих врагов, так и врагов Руси. Но, кроме борьбы с врагами, царь немало времени уделял и битвам любовным. Не зря он считался первым любовником на Руси. Семь раз был женат, а познанных им девиц вообще не счесть. И здесь он проявлял свой необузданный нрав: женщин, хоть в чем-то провинившихся перед ним, царь не щадил. А уж с предпоследней женой – Василисой, которую он застал с любовником, царь поступил с изощренной жестокостью. Великим грешником был царь Иван. И отвечать за свои тяжкие грехи ему пришлось в конце жизни...

Содержание

Часть первая	4
Глава 1	4
Глава 2	19
Глава 3	31
Глава 4	38
Глава 5	48
Часть вторая	62
Глава 1	62
Глава 2	66
Глава 3	69
Глава 4	71
Глава 5	80
Часть третья	81
Глава 1	81
Глава 2	84
Глава 3	89
Глава 4	91
Глава 5	94
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Евгений Сухов

Царские забавы

Часть первая

Глава 1

Государь возвратился в Москву в лютень. Самое время, чтобы лежать на печи и греть бока. Этот зимний месяц переменчив – то опалит стужей, а то вдруг без ведомой причины закружится метель и, балуясь, швырнет охапку снега в слюдяные оконца.

Оприщина – вдовья доля.

Не бывало на Руси такого, чтобы делилась государева вотчина на две половины.

Граница пролегла даже через дворы и приказы, а в Сытном, Кормовом и Хлебном дворцах государь повелел назначить особых ключников, поваров и сытников, которым доверялась великая честь – верой и правдой служить царю.

Поделил государь даже стрелецкие полки и большую часть новиков приписал в земщину.

Ветер напоминал старика-ворчуна, который без конца сердится невесть на что, кричит, а то, собравшись с силами, вдруг завьюжит и вознесется под самое небо, смеясь и злорадуясь.

Лютень был каверзным забавником и шутил обилием снега, который бывал настолько глубок, что заваливал дороги, лошадей заставлял тонуть по самое брюхо, а пешим и вовсе не было пути. Распотешившись, лютень мог сговориться с солнцем, и тогда через снег пробивались, синяя, первые подснежники. Улыбнутся цветы – и спрячутся под толстым слоем снега до неблизкой весны.

Иван Васильевич возвращался в Москву в оттепель, полозья саней давили поднявшиеся цветы. Колоколов не слышать, тишина без конца, тревожит ее лишь веселая задиристая капель.

Едва успела столкнуться весна с зимой, а глухари уже весело токуют, как будто тепло обещает быть безвозвратным. У кромки леса государь увидел двух огромных тетеревов, цокающих друг на друга; они пыжились, наседали грудью и без конца поглядывали на молоденькую самочку, а потом, заметив опасность, взлетели на багряную рябину.

Еще в дороге государь объявил опалу многим именитым боярам, которые отныне обязаны отращивать длинные волосы и жить подальше от царской милости.

В числе первых опальных был Александр Горбатый-Шуйский.

Трудно было поверить, что совсем недавно он был первейшим боярином.

Опальных бояр Иван Васильевич определил в земщину и отгородился от ослушников множеством телохранителей; теперь нельзя было подходить им к московскому двору ближе трех верст.

Бояре гурьбой жались у Спасских ворот, однако нарушить наказ самодержца не смели: потопчутся малость, пожалятся на судьбинушку и расходятся по хоромам, подальше от государева гнева. А ведь совсем недавно каждый из них мог запросто перешагивать порог передней государя без доклада и появляться во дворце не только когда соизволит царь, но и по собственной прихоти.

Бывало, что и раньше объявлял Иван Васильевич опалу неугодным боярам, но чтобы вот так... двум дюжинам сразу! Не припоминалось такого. Отгородился Иван Васильевич от

прежних слуг дворцовой челядью, а вместо родовитых бояр нагнал в Думу пришлых, отцов которых прежде даже на Постельное крыльцо не пускали.

Оприщиной издавна называли лучшее блюдо на пирах, которым великий государь обыкновенно делится с именитыми гостями. Сейчас, по новому уложению, оприщиной он называл города и волости, что взял под свою великокняжескую опеку. Государь придумал даже наряд для своих слуг – черный кафтан и метлу у пояса. Темный наряд – это печалование об измене великой на русской земле, а метла означает, что выметать нужно эту крамолу подальше от царского двора.

В ожидании присмирели и тати, озираясь на небывалое нововведение. Новые слуги царя совсем не напоминали страждущую братию и больше походили на ораву разбойников, ищущих легкую поживу. Необычен был даже их внешний облик. К седлу опришники привязывали головы собак, которые так свирепо колотились о бока лошадей, что животные совсем не нуждались в понукании.

Едва ли не каждый день государь терпеливо расширял опришнину, включая в нее дальние уделы. И князья северных волостей, не ведавшие ранее государевой службы, ломали свою гордыню и шли к Ивану Васильевичу на поклон, признав в нем первого господина.

У Челобитного приказа выстраивалась очередь: ходоки из дальних уделов били челом самодержцу, чтобы быть принятыми в опришнину и стоять за честь государеву.

В гордыне пребывали только родовитые бояре, среди которых был Александр Горбатый.

* * *

Александр Горбатый-Шуйский, попав в опалу, отрастил длиннющие волосы, которые седыми лохмами спадали ему на грудь и спину. Уподобившись сырым и юродивым, князь стал носить на шее тяжелые вериги, и непокорная голова боярина согнулась только под тяжестью железа.

Горбатый пришел на великокняжеский двор и стал просить великой милости, чтобы предстать перед царскими очами. Но Иван Васильевич повелел гнать князя со двора.

– Вот видишь метлу, боярин? – ткнул пальцем себе в пояс молоденький опришник. – Она для таких супостатов, как ты. Не пройдет и полгода, как государь повелит весь сор из Москвы повымести.

Отстраненный от двора, последний из старших Шуйских, оставшихся в живых, он ходил по домам и жалился на государя. А «доброхоты» уже передали Ивану, что непокорный и горделивый Александр Борисович всюду называет царя «смердячим псом» и «отрыжкой блевотной».

Не ведал Горбатый-Шуйский о том, что, призывая Ивана на царствие, сам себе подготавливал опалу и бесславную кончину.

– Вот от таких лиходеев, как Горбатый Алексашка, и надо тебе освободиться, Иван Васильевич, – нашептывал государю Малюта Скуратов. – Ты и ранее от них кручину терпел, а теперь и вовсе никакого сладу с ними не стало. Это где же видано такое, чтобы холопы царю перечили?! Лукавый боярин погибели твоей желает. Он и других бояр подговорит, чтобы с царствия тебя извести.

От Скуратова-Бельского пахло подземельем, а колючие глаза, словно кусочки ночи, вспыхивали таким холодом, что колодезная вода в сравнении с ними казалась парным молоком.

– Взгляд у тебя бесовский, Гриша, – проговорил Иван Васильевич.

Припомнилось государю, как однажды, плутая с отроками по лабиринтам подземных тайников, которые длиною едва ли не превосходили все московские улочки, натолкнулся в

одном из колодцев на воинника в доспехах. Ратник сидел на сухом дне, опершись спиной о дверцу, с которой начинался подземный лаз. На широких плечах чешуйчатая броня; вместо глаз темные бездонные впадины, отчего мерещилось, будто бы отрок смотрит на вошедших пристальным немигающим взором.

Иван Васильевич знал, что почивший воин является хранителем и стражем подземного дворца.

Малюта Скуратов казался царю живым воплощением сгинувшего дружинника: глаза у него такие же бездонные и огромные.

И в один из долгих вечеров Иван Васильевич уступил настойчивому просителю.

– Забирай Горбатого к себе, Григорий Лукьянович. Может, так оно и лучше будет.

– Быть по твоему, Иван Васильевич, – поклонился в благодарность «князь тьмы», прибирая себе на откуп новую душу.

* * *

Ранним мартовским днем истопники стали свозить на Красную площадь дрова. Укладывали печники их аккуратно, связывая в большие поленницы, а когда возвышение стало переваливать за вторую сажень, мастеровые укрепили на самой вершине огромную сковороду. Горожане, поглядывая на величественное сооружение, усмехались в бороды и злословили о том, что царь надумал полакомиться оладушками. Сковорода была такого размера, что одним блином можно было бы накормить половину стрелецкой слободы.

К обеду все приготовления были закончены: поленницы обложили трескучим хворостом, расчистили площадь от завалов снега, и зеваки стали ожидать появления дворовых Сытного приказа. Они известные мастера замешивать тесто! Но вместо пекарей на площадь вышли стрельцы в черных кафтанах и объявили о воле самодержца:

– За измену государю царю и великому князю всея Руси Ивану Васильевичу лишить живота душегубца известного и пса мерзкого, крамольника лихого и клятвоотступника Алексашку Горбатого-Шуйского.

На площадь все прибывал народ, предвещая небывалое зрелище, а часом позже из чрева Никольской башни показался тюремный сиделец князь и боярин Александр Борисович Горбатый. Позади и впереди шествовали стрельцы с топорами на плечах, и, если бы не пудовые цепи на руках узника, можно было бы предположить, что боярин вышел к торговым рядам для того, чтобы примериться к ценам. Горбатый-Шуйский никогда не ходил один, не по чину ближнему боярину шествовать без дворовых людей. Потому он любил окружать себя челядью даже тогда, когда выходил по нужде. И сейчас, в последнем своем пути, не изменил устоявшимся привычкам, а потому окружил себя свитой стрельцов, которые, звеня саблями и громяхая пищалями, двигались рядышком.

– Господи Иисусе! – хотел было поднести длань ко лбу боярин, но рука бессильно опустилась.

В десяти сажнях от поленниц мастера установили помост, на котором поставили трон и лавку.

– Никак ли царь-батюшка появиться должен? – переглядывались москвичи.

– Идет он! Идет! А следом за ним князь Вяземский и Федька Басманов! – закричали в толпе.

Царь сел, а челобитию на площади не видно было конца: если бояре кланялись государю до тридцати раз, то смерды не считали за труд сгибать спину до ста раз кряду, и самодержец терпеливо наблюдал за чинопочитанием, которое волной разливалось по площади и убегало далеко за торговые лавки.

Царь махнул рукой и велел Малюте начинать.

Григорий Лукьянович подошел к опальному боярину и заговорил с ложным участием:

– Александр Борисович, да ты никак продрог на мартовском морозце. Раздет, разут, сердешный, не печешься ты, боярин, о своем здоровьице. Охо-хо! Ну ничего, зато мы с государем страсть как о тебе заботимся, если тебе вдруг занедужится, то нам с Иваном Васильевичем горести оттого только прибавится. Вот мы и решили с государем согреть тебя малость, а вот эта сковорода в самый раз для твоего зада будет. Эй, стрельцы, ведите боярина на железо, пусть он свои пяточки погрееет!

– Злыдень ты, Гришка! Убивец! Попомнишь мои слова, помирать тебе в мучениях.

– В худших, чем ты, не придется, – посмел усомниться Скуратов-Бельский. – Чего стоите?! Ведите клятвоотступника на сковороду, пусть на этом свете познает, каково в аду быть зажаренным чертями!

Александр Борисович грузно поднимался по лестнице. У самого верха ступенька надломилась, и, не поддержи стрельцы Шуйского под руки, сломал бы боярин шею раньше, чем перешагнул край жаровни. Шуйского повалили и прикрутили цепи к огромным скобам, и он, распятый, замер на железном дне.

– Господи Иисусе, помилуй нашего государя Ивана Васильевича, – молился опальный боярин. – Спаси его и смилуйся над ним, не поминай его грехов тяжких в Судный день. – Громовой голос боярина стучался в высокие борта жаровни и почти колокольным эхом расходился по площади. – Не вини его, а сделай так, чтобы жизнь его протекала в блаженстве. Прости ему распутство и блуд, безвинно убиенных христиан и животную похоть!

Поджигать кострище доверялось тем, кто сумел заслужить эту честь неистощимым усердием во благо государевой крепости. Сейчас этим избранцем оказался Никифор Вороное Око, прославившийся тем, что наябедничал на своего хозяина, Андрея Курбского. А Вороным Оком Никифора прозвали потому, что имел он дурной глаз – глянет на человека, и приберет молодца нечистая сила.

Рядом стояла небольшая группа людей, которые сумели дослужиться до того, что им доверено было подкладывать хворост в слабый огонь. Позади них стояло полторы дюжины мастеровых, которым было доверено подкладывать в пламя смоленые щепы и березовую кору.

Малюта Скуратов распалил факел и протянул его Никифору Вороное Око. Тот принял его достойно, так ратоборец берет в руки чудотворную икону, чтобы попросить у нее милости и жизни перед тем, как сразиться в смертном поединке на виду у многочисленного воинства. Подержал Никифор факел над головой, словно ожидал чудесного знамения, а потом сунул огонь в рубленый хворост.

Пекло заговорило сухим треском, после чего поленница загудела, словно добротной сложенная печь. Перекрестился Малюта, подумав, что сюда, видно, дьявол явился, чтобы забрать в ад проклятую душу.

Сковорода накалилась, прожигала бока боярину, а он, пытаясь порвать гремучие путы, бился о раскаленное железо. Горбатый-Шуйский попеременно с воплями и стонами продолжал свое:

– Господи, спаси и помилуй раба твоего и неверного сына царя и государя Ивана Васильевича. По недомыслию и скудоумию мучит он своих верных холопов, по наговору вражьему казнит их и предаст огню.

Голос его, подобно набату, звучал на самой верхней ноте и срывался в толпу дребезжащим звоном. Пламя было настолько плотным, что спрятало от глаз онемевшей толпы вздрагивающее тело.

– Спаси и помилуй!..

Потом тело боярина затрещало и с шипением разлилось на чугуне ядовитым смердящим соком. То, что еще недавно было Александром Борисовичем Горбатым-Шуйским, на

виду у народа быстро уменьшалось в размерах, изливалось вонючим жиром и превращалось в коптящую шкварку. И совсем скоро от тучного тела боярина остались только обугленные кости.

Царь ушел первым.

Иван оказался победителем в этой долгой непримиримой вражде со старшими Шуйскими. Последний из них, распятый цепями и зажаренный заживо, оттого вдвойне умерщвленный, покоился на груди спаленных бревен.

Вслед за государем с площади потянулся прочий люд, и только несколько юродивых не решались уходить – грелись в мартовский холод от раскаленной жаровни.

Нелегко далась победа: Иван Васильевич не мог сомкнуть глаз два дня. Помаявшись изрядно, государь поставил свечу за упокой и уснул праведником.

* * *

Понемногу жители московские стали привыкать к опришнине: опасаясь расправы, кланялись каждому отроку в черном кафтане, а если он был при метле, так уж тут до самой земли! Не переставали удивляться только послы-латиняне, которые не могли уяснить чуждества великого государя и всякий раз не забывали спрашивать при встрече:

– Цезарь Иван, а правда ли, что ты разделил свои земли на две половины?

Иван Васильевич перестал хмуриться на этот вопрос и научился отвечать ровным тоном:

– Неправда! Эти небылицы распускают мои вороги, которых на царствии моем великое множество. Как правил я единолично русской землей, так и далее хозяином буду.

В русском царстве собрались иноземцы с лукавым умом, и с тем же вопросом послы обращались ко многим государевым слугам, но бояре, напуганные предупреждением царя-батюшки, твердили единодушно:

– В нашем отечестве все едино! Опришнина, глаголите? Орден свой государь создал? Все не так. Это царь приблизил к себе достойных. Такое и в вашем государстве имеется. А так живем мы по-старому, как при отцах наших и при дедах живали. Казнит, говорите? Так это только изменников, такое и раньше случалось.

Послы-латиняне долго грызли кончики гусиных перьев, прежде чем решались отписать королям послание. Запутано все в русской земле, не поймешь, кто кем правит. Есть у них опришнина, есть у них земщина, и в каждой из них своя Дума с приказами. Прежние родовитые бояре ныне не в чести, и во дворце много пришлых отроков с дальних вотчин, которые принимают поклоны так же бесстрастно, как будто всю жизнь ведали дворами. А больше всего полюбилось в Москве черное сукно, из которого даже бабы стали шить сарафаны, а потому в лавках оно не залеживается, и раскупают его горожане так же охотно, как свежесдобитый хлеб. Видно, тайну о разодранном отечестве москвичи держат так же крепко, как о Пушечном дворе самодержца.

Москва как будто жила прежним обычаем.

Как и в былые времена, слаженно работали приказы, голосисты были дьяки и подьячьи, суды карали мятежников, а князья гордились перед иноземными гостями своим местничеством. И все-таки была в стольной какая-то значительная перемена, неприметная с первого взгляда, но становилась более отчетливой при ближайшем рассмотрении.

Государство, разорванное на две половины, напоминало двух сводных братьев, которые не ладили. Земщина напоминала младшего брата с тихим покладистым характером, другое дело опришнина – любимый старший сын, отцовский баловень. Вот потому растет он нахальным и без конца проказничает, знает наверняка, что заслужит снисхождение перед крутым характером батеньки.

Иван Васильевич, вернувшись в Москву, часто проводил время на пирах, которые, как и раньше, отличались многошумностью и обильным хлебосолом, и, глядя на одинаковые одежды царских вельмож, иноземные послы только разводили руками, пытаясь разобрать чин каждого из присутствующих. Верной оставалась только одна примета – чин познатнее имел необъятное чрево, а у пояса, как правило, висела серебряная ложка. Итальянские купцы вспоминали невинные обычаи родины, где знатный вельможа, не отличаясь одеждой от простолюдинов, имел носки башмаков неимоверных размеров, это обстоятельство заметно затрудняло ходьбу, но добавляло фигуре статности. И чем длиннее носок башмака, тем значительнее вельможа.

Ежедневно Малюта Скуратов являлся к государю с докладом и сообщал об изменах, которые, как он уверял, увеличивались, подобно накипи на грязном вареве. Малюта жег смутьянов железом, топил в реке, рвал клещами плоть, но ряды недовольных продолжали множиться. Казалось, заговор захватил не только Москву, но и дальние вотчины. Выбрался ураганным ветром далеко на простор, чтобы застудить государя и заморить его до смерти.

Иван Васильевич теперь совсем не покидал дворцовых палат, окружил себя множеством опишников, которые шныряли по дворцу темными тенями и всюду разглядывали измену.

Но Малюта Скуратов все нашептывал:

– Ты бы, Иван Васильевич, поберег себя, третьего дня опять супротив твоей милости злой умысел раскрыли.

– Так... Слушаю я тебя, Гришенька.

– Тут одна баба, что беловшвей во дворце служила, бесов хотела на твою голову накликасть. Книга у нее черная имеется, по которой нечистых может вызвать. Вот она все и нашептывала.

– Каких же бесов призывала баба? – полюбопытствовал Иван.

– Народида и Сатанаила, – живо отозвался Малюта. – А зналась она с гулящими людьми и прочими разбойниками, которые тебя, государь Иван Васильевич, хотели со света извести. Мы ее от знакомства с бесами хотели отвести, да она ни в какую не соглашается. Так и говорит, злыдня, что будто бы сатана посильнее Христа будет. Никитка-палач ей одну пятачку подпалил, по другой прутами бил, так баба все твердила, что поклоняется только одному сатане, который принял облик Циклопа Гордея.

– Циклопа Гордея? – подивился Иван.

– Циклопа Гордея, батюшка. Я тут у людишек порасспрашивал, оказывается, он в Москве вместо тебя служил, когда ты, государь, на бояр опалился. Требовал от них, чтобы шапки перед ним скидывали. И сымали ведь!

– Вот как, волосья свои перед разбойником обнажали?

Малюта глянул на царя и увидел, что Ивану было сладко думать о том, что родовитые бояре низко кланялись татю.

– Гордей Циклоп на шестерках разъезжал, и, заприметив его лошадей, бояре у обочины в поклоне становились.

– Ишь ты, какой удалец, – весело вымолвил царь, – чего же это он государевы покои не занял?

Услышав государев смешок, Григорий Лукьянович догадался, что ближние бояре для царя куда страшнее безродного Циклопа.

– Удалец-то удалец, батюшка, а только окружил он себя такой охраной, что ежели надумаем его брать, так без пролитой кровушки не обойтись. Повелел всем ближним называть себя по имени и отчеству, а чтобы прочие величали не иначе как батюшкой-государем.

Малюта когда-то просчитался, думая, что два великих татя – Яшка и Гордей – побьют друг друга до смерти. Григорий Лукьянович никак не мог предположить, что Циклоп утвер-

дит свое величие на разрушенном царствовании Хромца, укрепив свое могущество его бойцами.

– Чего еще глаголят в моем царствии? – глухо поинтересовался Иван Васильевич.

– Дознавался я тут с пристрастием у одной девицы... у той, что в светлице у царицы сживает. Не любят они матушку, государь!

– Вот как?

– Истинный бог! Девкой-чертовкой называют. Паскудой кликают. А сенная девка с воровскими людьми знается. Ближние боярыни видели, как она над кореньями волхвовала, от которых дух смердячий исходит. Видно, татям неугодна наша матушка, вот они ее со света и хотят сжить.

– Кто поручителем у девки был? – сердито вопрошал Иван Васильевич.

– Горбатый-Шуйский, государь.

– Здесь тати ни при чем, Гришенька, бояре ближние повинны. А запись Шуйского у меня и теперь хранится, так и писал – «наши поручиковы головы вместо ее головы». Свершилось возмездие. А до царицы мне дела никакого нет. Хотя и красивая баба, а пакостная, – заметил Иван Васильевич. – На цветок она с шипами похожа: и прижать хочется, и боязно, того и гляди, что ранишься до кровушки. Ошибся я, Гришенька, что в жены ее взял, мне бы бабу попроще надо, из наших, такую, чтобы на Анастасию Романовну во всем похожа была. А эта, бестия, только глазищами сверкает и старух богомольных своим сатанинским видом пугает. Я уже стал подумывать о том, а не запереть ли ее в монастырь строгий? Хотя, думаю, с ней и там сладу никакого не будет, – махнул государь рукой. – А может, от женушки моей лихо идет, Гришенька? Может, она вместо меня на царствие сесть хочет?

– Нет, государь, слаба она для того. Без родовитых бояр ей не обойтись, да таких во дворце мало осталось – кого ты отдалил, а кого в ссылку отправил.

– Боюсь я здесь оставаться, Гришенька. Весь город изменой дышит. Если бы не твое старание, давно бы меня лиходеи живота лишили. Хорошо мне только в Александровской слободе, вот где легко дышится! Как ты думаешь, Григорий Лукьянович, может, мне и вправду с Москвы съехать?

Малюта Скуратов виделся с царицей вчерашним вечером на царской даче в Рождественском селе, где кроме них были еще две молодые черкешенки, которые совсем не понимали по-русски, но если бы даже и разумели, не вырвать у них тайны даже Никитке-палачу. В красоте они не намного уступали самой царице. Девушки в полном молчании прислуживали государыне и гостю, и если бы Малюта не слышал их речь раньше, то мог бы подумать о том, что рядом порхают безголосые создания.

– Все я делаю, матушка, как ты говоришь: царя совсем запугал, и не сегодня-завтра он в Александровскую слободу съедет, – щедро расплачивался за царицыны ласки Григорий Лукьянович. – Давеча так его напугал, что он и к блюдам притрагиваться не пожелал. Только тогда решился, когда мы все из его тарелки откушали.

Григорий Лукьянович глотал слюну, представляя, как скоро освободит царицу от тесного кавказского наряда и возьмет ее с мужицкой страстью в Спальной комнате под тяжелым бордовым балдахинном.

– А не боишься, что государь о тебе узнать может? – вдруг лукаво улыбнулась царица. Поперхнулся Малюта.

– Неужно расскажешь?

– Могу и рассказать. Мне-то Иван ничего не сделает. Не посмеет! Ну, разве что в монастырь отправить может, – пожала плечами государыня, – а вот тебя, Григорий Лукьянович... осудит!

– Что же ты такое говоришь, матушка?! Господь с тобой! Придушит меня тогда царь, как щенка безродного, а потом повелит в канаву выбросить.

– Так вот, если хочешь со мной в мире жить, Гришенька, пострадай еще царя. А если он надумает в слободу ехать, не удерживай его. Нашей любви многие завидуют, Гришенька, а если ты государя подалее от города увезешь, тогда никто нашей любви не помешает. – Царица стала расстегивать платье.

А Иван Васильевич продолжал:

– Всеми я предан, Гришенька. Только ленивая собака на меня сейчас не брешет. Такие люди, как ты, и есть для меня надежда. Ими и держится мое царствие.

Малюту Скуратова рапирала радость:

– Верно, государь, только в Александровской слободе тебе будет спокойно. А как я с крамолой посчитаюсь, так и вернешься. Окружишь себя в слободе верными людьми, а они для тебя крепче будут, чем кремлевские стены. Ни одного врага не допустят!

– Так и сделаю, Гришенька, съеду из Москвы, а земщина пускай своими землями правит.

– А если что не так, государь, так мы на них быстро управу найдем.

– Никуда от государя не денутся, будут в слободу с докладами приезжать. А видеть их всех сразу моченьки моей нет. Столько они мне лиха сделали, что только под замком их и держать. Иной бы государь сгреб бы их всех разом да на плаху отправил, а я милостив, Гриша.

– Ничего, государь, пускай собаками беспризорными по Москве побегают без хозяина.

* * *

Неделей позже государь съезжал с Москвы. У Красного крыльца, как и прежде, оставались незадачливые бояре и робко пытались удержать царя. Настойчивее всех был боярин Морозов, который без конца говорил:

– Обождат бы ты, Иван Васильевич, в самую распутицу едешь. Не ровен час, в грязище засесть можешь.

– Это лучше, чем среди вас, душегубцев, жить, – отвечал Иван Васильевич. – Если не зельем отравите, так нечисть лихую на меня нагоните. Живите себе в земщине, а я со своим двором отъеду.

Царь Иван долго пытался уговорить царицу уехать вместе с ним, но это оказалось так же трудно, как преодолеть сопротивление укрепленного детинца, и, махнув на долгую осаду, Иван Васильевич отступил перед ее каменным упрямством.

Царица была единственным человеком во всем царстве, не боявшимся перечить Ивану. Государыня знала, что самое большое наказание, которому мог подвергнуть свою жену самодержец, – это запретить ей выезжать в город верхом.

...В этот год зима была снежной как никогда. Снегу навьюжило до самых крыш, огромные сугробы закупорили двери и ставни, и молодцы частенько выбирались на двор через чердак, чтобы разгрести белую напасть. А потому весна ожидалась теплой и полноводной.

Так и случилось.

С первым жарким солнцем схлынул из оврагов паводок, который был такой силы, что сумел оттащить к устью огромные валуны, где и похоронил их под песком и илом. Созерцая обилие воды, каждый из отроков думал о том, что божье многотерпение истощилось и на грешников обрушены многие воды, чтобы утопить их во Вселенском потопе.

Однако через неделю паводок притомился и уже вливался в успокоившиеся реки небольшими голосистыми ручейками.

Именно таковой была любовь государя к Марии, которая сначала напоминала всепобеждающий водоток, способный сокрушить на своем пути любую преграду, а со временем переродилась в едва пробивающийся родничок, который будет засыпан более сильными страстями.

Схлынула бывшая любовь, оставив взамен грязные разводы сожалений и печаль.

Иван Васильевич любил дорогу и порой, удивляя ближних людей, мог шествовать на богомолье пешком, досажая своей волчьей выносливостью тучным боярам, которым не полагалось отстать от государя даже на шаг. Худой, долговязый, он походил на огромного сохатого, который гигантскими шагами двигался по тропе. Государь словно задался целью промерить расстояние от Кремля до всех главных соборов митрополии. Порой эта ходьба походила на самоистязание, но государь с упрямством инок отказывался от всякой помощи. Он преодолевал топкую грязь с той радостью, с какой паломник спешит к святым местам. Его не удерживали ни чавканье под ногами, ни весенняя топь, которая грозила засосать его по самое горло.

Апрель – это самое время для очистительного похода, а для истинного богомольца грязь не преграда. Она вышла из-под снега запахом слежавшегося навоза, прелым сеном, истлевшими корневищами, которые без конца заграждали дорогу и норовили ухватить сани за полозья. Дорога в это время напоминает разбойника, который если не убьет, так обязательно перевернет повозку. Нет ничего хуже, чем выбираться из теплых саней и гуртом растаскивать по сторонам камень. А сами дороги напоминали переправу, где вода так велика, что без конца заливает лежанки, а то и вовсе умывает с головой.

Совсем скоро последняя капель разбудит задремавшую землю, и она разродится в расщелинах и оврагах первым весенним цветом.

Иван Васильевич заехал на ближнюю дачу в селе Дьяково, где прятал двух своих зазноб. Для каждой из них государь повелел выстроить по огромному дому, в которых им прислуживала челядь из царского двора, а потому полюбовницы держались боярынями. Царские утешительницы носили высокие лисьи шапки, шеи украсили жемчужными и бобровыми ожерельями, даже поступь у них была такой же важной, как у верхних боярынь.

Первой из них была Рада, дочь дьяка Разрядного приказа. Иван заприметил ее, когда она явилась во дворец за царским гостинцем. Перегородил государь молодухе дорогу, да так и оставил при себе.

Второй была Калина – вдовья баба двадцати двух лет. Судьба ее вдовья. Муж не вернулся с Ливонской войны, и томиться бы ей до конца дней в женском монастыре, если бы бабу однажды не увидел царь, когда она с коромыслами на плечах спускалась к реке.

Тайна села Дьяково не укрылась от внимательных глаз Марии Темрюковны. И она хохотала на весь терем, когда узнала о соперничестве двух государевых избранниц: в желании заполучить Ивана к себе каждая из них натирала свое тело ромашковым настоем, совсем не подозревая о том, что этот запах вызывал у царя дурноту.

Иван Васильевич и сам не без интереса наблюдал за соперничеством девиц и с ухмылкой встречал их частые просьбы о подарках. Не желая обидеть ни одну из них, Иван Васильевич обряжал избранниц одинаково. Они ходили в одних и тех же шубках и платьях и очень напоминали близнецов, даже украшения царские любимицы носили одни и те же.

Молодки и вправду очень походили одна на другую: одного возраста, обе розовощекие, даже брови подводили в скобу, отчего их взгляд казался удивленным.

Рада была замужней, однако это обстоятельство совсем не смущало государя, и он частенько забирал женушку своего подданного, когда уезжал к святым местам. «Обманутый муж», распивая брагу в корчме, не без гордости похвалялся перед приятелями о том, что

его жену царь-государь любит куда больше собственной. Царское милосердие не обошло стороной и недотепу-мужа, который, не ведая о кириллице, сделался подьячим Разбойного приказа, а позже, по особой милости, был взят стольником в Большой дворец.

Молодухи к государеву расположению привыкли быстро. Царь без конца одаривал их милостями, серебром и золотыми серьгами, а они уже подумывали об именицах неподалеку от стольного града.

Иван Васильевич любил бывать в их обществе; молодухи, несмотря на лютую ненависть друг к другу, созерцали друг дружку с таким обожанием, как если бы были сестрами. Иван Васильевич не уставал дразнить их и во время молодецких пиров одну сажал рядом с собой, в то время как другая следила за соперницей из дальнего угла.

Иван Васильевич не сомневался в том, что если он оставит девок наедине, то они тотчас позабудут про степенность и бросятся друг на друга со свирепостью рассерженных кошек.

* * *

Мария Темрюковна быстро проследовала мимо караула, и два молодца даже не успели опустить голов и со страхом и восхищением созерцали лицо царицы: кожа смугла, брови черны настолько, будто вымазаны углем, губы горели алым цветом и заставляли думать о грехе. Царица в отличие от русских девок не признавала белил, и над ее верхней губой темнел густой пушок. Мария была красивой и дикой, какой может быть только роза, выросшая на самой вершине скалы. Она была так же коварна, как отвесный склон – ступил на него и полетел головой вниз...

Царица Мария не признавала ни убрусов, ни богатых шубок, ходила по дворцу в черкесском костюме, который был к ее фигуре настолько ладен, что броско и выгодно выставлял прелестные места. И бояре, никогда до того не видевшие подобного великолепия, смотрели на царицу как на голую.

Мария Темрюковна в черкесском костюме выглядела настолько созревшей, что, казалось, тронь ее пальцем, и она брызнет алым соком. Налитое тело царицы своим великолепием наводило молодцов на грешные мысли, и каждый из караульчиков, провожая взглядом удаляющуюся фигуру, видел Марию совсем не государыней, а обыкновенной бабой для утех. Царица казалась до того соблазнительной, что вызывала плотские видения даже у тех бояр, которые уже давно были лишены сладости греха. Можно было только предполагать, с какой отчаянной страстью они набрасывались на своих старух после каждой нечаянной встречи с государыней.

Даже престарелый князь Мещерский не сумел удержаться от восторга, когда царица случайно коснулась его руки, проходя мимо.

Мария Темрюковна была первая царица, которую бояре разглядывали так же откровенно, как престарелый свекор созерцает в семейной бане спелую невестку. Своей ладной фигурой и несхожестью с остальными бабами она собирала все взгляды точно так же, как статная лошадь, гарцующая на ярмарке, приковывает внимание всякого гуляки. Она походила на дорогую вещь и ожидала купца с огромной мошной, который отважился бы купить ее целиком.

Бояре без конца шептались о том, что царица обращала внимание то на одного, то на другого отрока. И нравились будто бы ей точно такие же чернявые и бедовые, как она сама. Греховно-сладкой молвой наполнились все окрестности Москвы, но люди московские, привыкшие к целомудренности цариц, слухам не доверяли, а только все больше ругали бояр-хулителей.

Иван Васильевич наведывался в столицу ненадолго: оглядит строгим взором неровный строй бояр, которые склонялись перед ним низко, а потом буркнет в сердцах невесело:

– Чего, крамольники, шеи повытягивали? Видно, опять худое супротив государя надумали!

– Государь-батюшка, да как же можно? – отвечал обычно за всех Морозов. – Погибнем мы без твоего присмотра.

Остановится на секунду Иван Васильевич, а потом обронит едкое словцо:

– А может, оно и к лучшему.

И пойдет дальше государь, не обернувшись на перепуганных бояр.

– Ты бы, жена, не позорила меня, как-никак государыня! – иной раз укорял Марию царь. – Простоволосая ходишь, а у нас это позором считается. Платье на тебе обтянуто, все титьки видать! – дернул Иван жену за одежду. – Бояр в смущение вводишь, а отроков о грехе заставляешь думать. Пялятся они на тебя, как похотливые петушки.

Побранившись малость с женой и взяв ее почти силком на многоаршинной постели, Иван Васильевич поздним вечером уезжал обратно в Александровскую слободу. А Мария Темрюковна продолжала жить в Москве точно так же, как если бы этот дворец принадлежал ее батюшке.

От молодых стольников, дежуривших у нее в дверях, не ускользнуло то, что дважды у Марии в покоях побывал красивый отрок осемнадцати лет, прозванный Пирожком за гладкую, почти девичью кожу да за румянец во все лицо. Оба раза царица продержала молодца до самого утра, и за несколько часов он изрядно похудел.

Даже в своих покоях царица поменяла девок на отроков, которые во время купанья меняли ей блюда, а в ранний час подавали одежду. И единственное, чего царица не требовала от отроков, так это появляться в исподнем.

Скоро царица совсем отказалась от сопровождения девиц, и даже на воскресное богомолье она выезжала в сопровождении трех дюжин юношей, которые звонкими голосами предупреждали всю Москву:

– Дорогу, люди московские! Дорогу давай! Государыня царица едет!

Стар и мал спешили наклонить голову, чтобы не разглядеть бесстыдства на лице молодой черкешенки.

Оставшись хозяйкой во дворце, Мария Темрюковна не спешила проводить время в рукоделии, чем славились русские царицы; не пряла пряжу и не вышивала золотыми и серебряными нитями рушники. Она со смехом вспоминала мамок и ближних боярынь, которые еще вчера досаждали ей нудными советами и учили держать в руках спицы, теперь же старались подлаживаться под государыню и стягивали себя поясами так, что через ворох платья бесстыдно выпирали рыхлые животы. Боярыни всюду старались поспевать за Марией Темрюковной, которая, позабыв про степенность, носилась по лестницам дворца так, как будто это были горные тропы. Особую радость доставляла царице неловкость служанок, когда одна из баб, не выдержав гонки, неловко срывалась со ступеней и ушибалась при падении.

Девы и боярышни старались подражать матушке во всем: каждая из них сумела заполучить в свои покои статного молодца из царской челяди, который, подобно татю, каждую ночь крался в девичьи покои. И до утра женская половина дворца стонала и охала. А утром, собравшись за трапезой, девы, ободренные вниманием государыни, рассказывали во всеуслышание о сладостных мгновениях прошедшей ночи. Девки, испорченные откровенностью Марии Темрюковны, без стеснения обсуждали достоинства каждого из отроков и подружески рекомендовали друг дружке добиться благосклонности того или иного богатыря. Более всех преуспела любимица государя Фекла, которая была похотлива, как крольчиха, и не проходило дня, чтобы она не увлекла в свои покои очередного молодца. Счет познанным мужам девица вела по зарубкам, которые оставляла на прялках, и не без гордости сообщала подругам о том, что их уже многие десятки, помеченных прялок набрался целых короб.

Фекла была искушена в плотских утехах не меньше, чем жрица любви античного храма. А однажды по секрету поведала мастерицам о том, что по велению государыни провела в ее покоях целую ночь, в то время, когда ее навестил красавец Вяземский. Боярышни завидовали Фекле и желали хотя бы одним глазком увидеть государыню, стонущую под мужским телом.

Государыня не ведала удержу ни в чем, и в этом самом она не отставала от Ивана Васильевича, который был такой же весельчак и сладострастный разбойник.

По Москве гулял слух о том, что царица настолько бесстыдная, что расхаживает по дворцу нагая и позволяет каждому караульщику щипать себя за смуглые ляжки.

Мария Темрюковна ведала о том, что говорят о ней в Москве, и, казалось, всем своим поведением желала подтвердить наговоры, а потому совсем не признавала бесформенного платья и выставляла напоказ распущенные волосы, и, глядя на простоволосую царицу, москвичи крестились неистово, как будто сталкивались в ночи с ведьмой.

Последним завоеванием Марии Темрюковны был конюший Иван Федоров-Челяднин – выходец из наиболее почитаемого московского боярского рода, предки которого были избалованы близким сидением к государеву трону на заседаниях Думы. Боярин всегда был рядом с царем, и когда Иван Васильевич определил Федорова в земщину, тот не мог скрыть обиду. Иван Петрович по-прежнему был боярином Конюшенного приказа, как и прежде, до самой земли ему кланялись москвиты, узнавая его стать. Но все-таки он был не так могущественен, как в начале Иванова царствования: оттеснили знатнейшего вельможу безродные людишки, отгородили царя от Думы и вместо него надумали государством править.

Если кто и мог возразить Ивану, так это жена-черкешенка, которая собрала вокруг себя едва ли не всех опальных бояр, и Федоров-Челяднин был среди них заглавным.

Мария Темрюковна и раньше присматривалась к Федорову: боярин был необычайно честолобив, и эта главная черта его характера не могла укрыться ни за спокойным взглядом, ни за степенностью рассуждения. Делами конюший считал себя куда выше многих мужей, а потому новоявленных любимцев царя Ивана не желал называть иначе, чем Федька или Гришка.

Сглатывая злобу, государевы любимцы терпеливо сносили хулу.

Иван Федоров был именно тот человек, на чье плечо могла опереться молодая царица. Как ни знатен был князь Вяземский, как ни пригож лицом, но только отсутствовала в нем та крепость, какой отличался конюший. Федоров-Челяднин даже по виду напоминал тяглогового жеребца, которому под силу вытянуть стопудовый камень, а Московское царствие для него и вовсе окажется пустяком.

В одну из майских ночей Мария Темрюковна так крепко приголубила конюшего, это у Ивана Петровича едва хватило сил доплестись до дома. А когда отошел, то словно большая оглушенная рыба кружил по двору, вспоминая умелые и горячие руки царицы. «Эх, лебедушка, – думал Иван Федоров о жене, – если бы твои ласки были бы так же остры, как у царицы... разве опоганился бы?! А так преснота одна», – оправдывал себя конюший.

Федоров чувствовал, что с каждым днем царица становится ему все необходимее. А Мария, оставаясь наедине с боярином, нашептывала:

– Опостылел мне мой суженый. Совсем неумоготу с Иваном жить стало. Груб он! А ты ласков, видно, бабы тебя за это очень любят. Ты меня ласкай, Иван Петрович, тещь свою царицу, а я тебя за это только крепче любить стану.

– Красивая ты баба, – заглядывал в лицо царицы конюший, – впервой у меня такая любавка. И ведь не просто девица какая, а сама царица!

– А хочешь государем быть? – спросила однажды Мария Темрюковна Федорова и осторожно положила длань конюшего себе на живот.

– Царем?! – охнул боярин.

– Ты не ослышался, Иван Петрович, царем! Многие из бояр моим муженьком недовольны, только и дожидаются того дня, когда он себе шею свернет где-нибудь на колокольне. Вот тогда только и посмеют выбрать кого-нибудь из старших Рюриковичей.

– А как же сын его... Иван Иванович?

– Не дорос еще царевич до государевых дел.

– Вот как!

– Как царя Ивана Васильевича не станет, так я боярам на тебя укажу.

Иван Петрович Федоров привык к близкому созерцанию трона. Ему всегда казалась, что протяни только руку, и она коснется алого бархата подлокотников. Однако московский государь всегда был выше самого родовитого Рюриковича на целых три ступени, а именно они вели к царскому трону. Вот оттого и гнут бояре перед самодержцем шею.

Перед смертью отец наказывал Федорову:

– Почитай царя пуще батьки родного. А не пожелаешь, так он тебе шею мигом свернет. Вся их московская порода такая! Нам, боярам, до самодержавного стола далековато.

И сейчас, услышав слова государыни, Иван Петрович первый раз усомнился в справедливости батюшкиных слов. А царица, заметив смятение на лице конюшего, продолжала, прибавив к своим словам пыл:

– Пошла бы тебе к лицу шапка Мономаха, Иван Петрович. Если и бармы еще великокняжеские нацепишь, так никто из бояр и не усомнится, что перед ними царь сидит. А еще я тебя своей властью поддержу.

– Как бы мне в одиночестве не остаться, ежели я на трон сяду, – посмел усомниться Иван Федоров.

– Ты, Иван Петрович, не горячись, если по-моему сделаешь, так тебя и остальные бояре поддержат. А князья Воротынские, Горенские, Куракины за тебя горой встанут!

– Неужто все они хотят меня на царствии видеть? – выпятил от удивления губу боярин.

– А разве конюший не первый человек во всем царствии после государя?

– Так-то оно так... Видно, так тому и случиться. – А потом, указав на икону, посмел пристыдить царицу: – Ты бы хоть Христа Распятого тряпицей прикрыла, каково ему совокупление зреть.

Утром Иван Петрович возвращался от царицы шальным и, проходя мимо стольников, стоящих на Спальном крыльце, не отвесил обычного поклона. «Хм, это надо же представить такое... царь и государь всея Руси Иван Петрович Федоров!» – не переставал думать боярин.

* * *

На невнимание государыни не мог пожаловаться и князь Вяземский, который приезжал в Москву каждую неделю и, передав волю московского самодержца боярам, тотчас являлся к царице. Мария встречала гостя так, как если бы князь был ее господином, и две дюжины девок сгибались до самой земли, когда он проходил в женские покои.

Она отдавала себя до донышка и требовала от князя такой же чувственной любви. Мария млела под умелыми пальцами Вяземского и требовала ласк так же жадно, как пересохшая земля требует животворящих капель. Мария выпивала князя до капли, и богатырь, каким всегда был Афанасий, представлял собой высушенное мочало. Князю Вяземскому царица напоминала рысь, готовую показать и коготки-кинжалы, но она могла быть и разнеженной кошкой, которая выставила вперед острую мордочку и распустила пушистый хвост в ожидании хозяйского прикосновения.

Любвеобильная Мария Темрюковна была куда интереснее целомудренных русских баб, которые целовались с молодцами пресно, как будто видели перед собой краюху хлеба, а Мария вопьется в рот так, что и не отодрать.

Афанасий Вяземский знал, что, оставшись одна, царица не скучает, ведал и о том, что у порога ее дежурят три пары молодцев, которых Мария одного за другим призывает к себе каждую ночь. Однако это только сильнее распаляло его любовь. Знал князь и о том, что царица не уступала Ивану в разгуле и пиры на женской половине являлись обычным делом. Гостями царицы были стольники и московские дворяне, а когда они отбывали с царем, то их успешно заменяли дворцовые истопники, которые так крепко прижимали девок, что радостным визгом наполнялся весь терем. В это время частенько можно было услышать в темных уголках двора напористое домогание бравых молодцев, и редко какая из девок могла устоять перед усердным обхаживанием.

Мария Темрюковна сумела объединить вокруг себя всех бояр, недовольных Иваном, с той терпеливостью, с какой Иван Васильевич выживал их из московского удела. Едва ли не каждый из них побывал на мягких царицыных перинах, слушая ее гортанную кавказскую речь.

Ночные развлечения напоминали некое посвящение в рыцари, к которому частенько прибегают знатнейшие матроны при королевских дворах, и они связывают куда крепче, чем церемониальное касание королевской шпаги. «Орден царицы» крепчал и увеличивался с каждым днем, а влияние государыни сумело распространиться дальше Белого города. Каждый из воевод, вызванный царем в Москву, непременно оказывался в постели государыни и, слушая ее ночное воркование, спешил заверить вольнодумицу в своей преданности.

Мария Темрюковна теперь только дожидалась случая, чтобы крутануть шею самодержцу до хруста в позвонках; теперь она уже не сомневалась в том, что сил у нее для этого предостаточно.

* * *

Скуратов-Бельский ревновал царицу.

Разве мог он думать о том, что сейчас, нажив с годами мошну и седые волосы, он будет ждать встречи с Марией так же нетерпеливо, как когда-то в далекой молодости воровского свидания с гулящей бабой. В первую их ночь думный дворянин напоминал орла, терзающего сладкое и нежное тельце лебедушки.

Мария.

Царица.

Теперь Мария не походила на прежнюю разлюбезную, а на прошлой неделе дала понять, что не желает видеть Малюту совсем. А когда он однажды без спроса пожаловал во дворец, повелела продержат его на крыльце, как последнего просителя из дальней волости. Потом, смилостивившись, передала ему яхонтовый перстень и спровадила со двора. Однако Скуратов-Бельский ничего не мог с собой поделат: образ царицы был так же навязчив, как колокольный звон перед рассветом.

Малюта Скуратов с ревностью наблюдал за всеми отроками, пользующимися благосклонностью царицы, и первым из многих был конюший Иван Федоров-Челяднин. Скуратов знал о том, что боярин сумел оттеснить от царицы ее давнюю и крепкую привязанность — князя Афанасия Вяземского. Если и ласкал оружничий царицу своими пепельными кудрями, так это случалось так же редко, как снег в мае.

Малюта ревновал царицу к стольникам, печникам, которые, казалось, поселились в женской половине дворца и задались целью не вылезать из покоев Марии до тех самых пор, пока не испакостят последнюю деваху. А девок они охмуряли так же умело и с душой, как заставляли столы многими яствами или как складывали печи.

Григорий Лукьянович знал и о том, что бояре, которым посчастливилось побывать в постели у царицы, с восхищением делились пережитыми впечатлениями, говорили о том,

насколько крепко и порочно ее тело. Каждый из вельмож, будь его воля, с удовольствием поменял бы свою благочинную женушку на темпераментную черкешенку.

Малюту сжигала ревность.

Она казалась настолько яркой, что могла спалить его дотла. Некоторое время Григорий Лукьянович боролся с собой, а потом решил пойти к царю.

Глава 2

Иван Васильевич и раньше тяготел к монашеской жизни, а тут, съехав в Александровскую слободу, решил совсем отойти от мирской скудности. Собрав многочисленную челядь во дворе, государь, наморщив подбородок, обходил ряды опришников. Дворовые люди, зная о пристрастии государя к веселым забавам, угадывали в этом новую потеху и жмурились от удовольствия. Иван Васильевич, тыча перстом в грудь приглянувшегося отрока, коротко изрекал:

– Ты!.. Ты!..

– Благодарствую, государь, – трясли густыми губами отроки.

Царь отобрал молодцев триста, таких же рослых, каким был сам. Под стать самому государю, высоченные, с литыми плечами, они посматривали друг на друга, ожидая, что сейчас предстоит им сойтись в кулачном бою на потеху самодержцу и боярам. Каждый из них был охоч до забав и не без удовольствия показывал свое искусство на базарах и ярмарках, и вот сейчас предстояло подивить самого царя.

Но Иван Васильевич вдруг неожиданно объявил:

– Тяжел мне городской дух, устал я от мирской суеты и потому решил уйти в братию. Вот отсюда, из-за этих стен, и буду я повелевать царством. Более вы не челядь для меня, а иноки, – посмотрел Иван Васильевич на отобранных молодцов, – я же вам игумен. Князя Вяземского назначаю келарем, пускай церковную утварь стережет... а Григорий Скуратов будет параклесиархом.

– Как скажешь, государь, – отвечали молодцы.

– Опять против меня бояре недоброе надумали, только божье покровительство и ваше заступничество способно меня спасти от лихоедеев. Вижу, как бояре над моей головой топор держат, того и гляди опустят его на царскую шею. Только вы, братия, и можете его из рук лихоедеев вырвать. Не веселиться я сюда прибыл, господа, а грехи замаливать.

– Куда ты, государь, туда и мы. Некуда нам без тебя идти.

Следующего дня из Москвы прибыло четыре воза, груженные шитьем, и к вечерне все триста опришников надели на себя рясы и скуфьи, поменяв дворовый чин на скромное звание – чернец.

Иван Васильевич в игуменстве проявил небывалое усердие, показывая пример избалованной братии, он подолгу стоял на коленях и клал поклоны так неистово, что лоб его без конца кровоточил и изнывал от заноз. Поменяв царствие на игуменство, Иван Васильевич сумел сделаться крепким наставником, и земские бояре злословили о том, что царь своим подвижничеством надумал затмить славу Сергия Радонежского. В царе шевелился духовный бунт, последствия которого опришники сполна ощутили на своих коленях. Иван Васильевич был неумом в молитвах и такой же страсти требовал от опришников. Молодцам по душе было пройтись по слободе, девки здесь дюже красные и глазами водят так, что дух от счастья замирает. Уже давно остыли сеновалы, на которых добрые отроки прели с красными девками. И совсем недавно выезд государева поезда опришники воспринимали как разудалое веселье в тихой глубинной Руси, когда можно было отдаться безудержству и сполна разогнать застоявшуюся кровь.

А тут в монастыре что ни день, так каша постная и совсем не в радость долгое стояние на коленях. Можно было бы стерпеть и эти неудобства, если бы не долгое воздержание от похоти, а потому молодцы тайком покидали гостеприимный храм и спешили на дальние заимки лобызаться с красавицами.

Поначалу Иван не гневался, а только хмуро посматривал на провинности новоявленных чернецов, а потом стал накладывать епитимью за непослушание. Первым, кого наказал

царь, был тонколицый красавец Вяземский, сумевший добиться благосклонности от дочки старосты.

Иван Васильевич скосил глаза на любимца, а после обычной молитвы повелел запирать его на неделю без пищи в сыром подвале. Позднее Иван Васильевич наказание сделал более суровым, и за малейшую провинность опришники могли лишиться причастия. Теперь они уже не опаздывали на молитвы и с первым ударом колокола покидали кельи с такой резвостью, какую не встретишь даже у ретивых схимников. Опришники откладывали поклоны так рьяно, что могло показаться, будто бы в своем боголюбии они хотят переусердствовать самого государя. Молитва и пост были единственным средством, чтобы унять молодую кровь, а еще нужно было суметь пересидеть государя, он-то уж точно не сможет обойтись без бабьей ласки, а тогда сумеют натешиться и все остальные.

Однако государь проявлял завидное терпение и вместо молодецких прогулок по слободам предпочитал залезать высоко на звонницу и бить в колокола. Царь звонил всегда так рьяно, что можно было бы подумать о том, будто он намеревался лишить их голоса, вырвав с корнем громогласные многопудовые языки.

Бесконечный пост не украсил царя, лицо его выглядело высохшим, и он напоминал пустытника, питающегося одними кореньями.

* * *

Малюта Скуратов явился к государю после обедни, переступил порог его небольшой кельи и замер в недоумении. Отринул от себя царь былое великолепие и надумал известить плоть среди темных камней и стылого воздуха. Если что и напоминало о государевом чине обитателя кельи, так это икона Владимирской Богоматери, висевшая у самого изголовья.

– С чем явился, Гришенька? – повернул изможденное лицо к гостю царь.

– Я к тебе, государь, вот с каким делом... Про царицу Марию Темрюковну разное во дворце толкуют, – начал осторожно думный дворянин.

– А ты рассказывай, Гришенька, не робей, – весело подбодрил любимца царь, присаживаясь на сундук.

– Уж и не знаю, с чего и начинать, государь Иван Васильевич... Во дворце я верных людей оставил, чтобы за земщиной крамольной присматривали, не ровен час, измена какая может выйти. Вот эти люди про государыню разное несут, будто бы она пиры на своей половине устраивает, а на это веселье конюхов и печников со всего двора сзывает. Те как напьются, так все по закоулкам расползаются, и такое там бесстыдство творится, что и произнести боязно.

– Так, Гришенька, рассказывай дальше, – спокойно повелел Иван Васильевич.

– Не знаю, государь, как дальше продолжить. Слов от стыда не нахожу.

– В храме ты святом, а в нем любой стыд помрет.

– А еще царица держит подле себя отроков, которых меняет чуть не каждую ночь, а если государыне очень приспичит, так по трое молодцов за вечер без сил может оставить.

– Это похоже на государыню, – охотно соглашался Иван Васильевич, – баба она в теле и падкая на отроков, такая будет требовать своего, пока не насытится. Ты далее говори, Гришенька, этим ты меня не удивишь, да и не новость это уже!

– Окружила государыня себя мужами, Иван Васильевич, они даже платье исподнее надевать ей помогают. Так смело ведут себя, государь, будто и царя вовсе нет.

– А чего им меня опасаться, если они в царице большую силу видят. И царица на меня управу нашла, что не так – сразу в петлю кидается! Твоя женушка, Гришенька, покладистая баба?

– Точно так, Иван Васильевич, а если что не по мне, так я ее розгами наставляю. Задеру платье до головы и отстегаю ивовыми прутьями, ежели их еще на соли настоять, так оно большее будет. Однако стараюсь, чтобы кожа не расползлась, иначе баба и присесть не сможет.

– Разумно, Григорий Лукьянович, только с царицы ведь другой спрос, а ты продолжай, слушаю я тебя.

– Грешно мне продолжать, если бы не государственная воля, то умолк бы на веки вечные. А еще царица на пиру раздевается, последнее исподнее с себя снимает, а затем среди гостей нагой ходит.

– Кровь у Марии горячая, вот, видно, и не выдерживает комнатной духоты. Тело ее простора требует! Что ж, и в этом я узнаю царицу. Спасибо тебе, Григорий Лукьянович, за службу. А ты следи за государыней и все мне без утайки докладывай. Это такая баба, что за ней в оба ока смотреть нужно. Пускай себе тешится, Малюта, – ласково говорил государь, – а мы о ее душе попечемся, молиться крепче прежнего станем.

Постоял малость Григорий Лукьянович, потоптался с ноги на ногу, а государь о нем уже позабыл – сполз с сундука и подставил в молении спину под строгий взгляд холопа.

– Вот еще, Григорий Лукьянович, – обернулся государь.

– Слушаю, Иван Васильевич.

– Принеси мне житие святых, читать буду, – и царь приник лбом к каменному полу.

Иван Васильевич не умел жить вполовину; если куражиться, так от души, чтобы не только в Москве весело было, но и посады от смеха захлебнулись; если гулял царь, так пьяны были не только ближние бояре – половина стольной хлебала сладкий квас. Неистовым Иван был и в молитвах и каялся так, как будто был первым на земле грешником.

Царь словно родился для монастырского самоистязания, и простоять четыре часа в молебном бдении для него было так же просто, как мирянину осенить грешный лоб привычным знамением. И, наблюдая за Иваном Васильевичем, верилось, что в нем дремал строгий праведник; только из великих грешников получают большие святоши. А Иван Васильевич умел быть одновременно и тем и другим.

Встав у алтаря и укрепив житие на аналое, государь любил читать опришникам о праведных делах святых, и, глядя в серьезные физиономии молодцов, верилось в то, что каждый из них думал о благочестивых подвигах канувших в Лету старцев, а не о прелестях статных молодых, коими переполнена была вся слобода.

Отроки втайне друг от друга наведывались в слободу и с жадностью блудливых котов воровали темные ноченьки у замужних баб и веселых девок, а потом с недосыпу колотили на моленях лбы о дубовые половицы, что очень походило на усердные молитвы и вызывало одобрительное покрякивание строгого великодержавного пастыря.

* * *

В праведных молитвах проходили месяцы, казалось, государь серьезно надумал своей святостью замерить опришников. И вместо жирного рассольника государевы единомышленники жевали пшенную кашу.

Малюта Скуратов строго следил за царским распоряжением. Его кряжистая фигура действовала на опришников точно так же, как появление на народ мрачного Никитки-палача, и первое, что приходило в голову чернецам, так это искать место поукромнее, которое сумело бы спрятать от его всепроникающих глаз. Однако во всей Александровской слободе нельзя было отыскать более потаенного места, чем собственная келья, и монахи быстро разлетались в стороны, подобно воробьям, спугнутым появлением кошки, как только видели его приближение.

Иван мало походил на живого – эдакая темная тень, которая неторопливо пересекает монастырский двор, чтобы справить нужду или отведать в Трапезной овсяного отвара. Однако эта мысль пропадала сразу, стоило государя увидеть во время молений. В нем было столько старания, что казалось, будто бы Иван и вправду беседует с богом. Иван Васильевич удивлял братию своими видениями, будил колокольным звоном округу и, собрав паству в церкви, говорил о том, что поведал ему господь. Глядя в безумные глаза царя, охотно верилось, что его мятежная душа отрывается во время сна и несется к небесам, чтобы выслушать божье слово.

Однако многие видения совсем не мешали государю приглядывать за строптивой земщиной да и за самой государыней Марией. Иван знал, что царица переживает небывалую любовь к земскому конюшему Ивану Федорову. Ведал и о том, что боярин, не в силах накинуть узду на кавказский темперамент Марии, отхлестал ее ладонью по щекам. Государь подозревал, что Федоров не одну ночь будет замаливать свою провинность, чтобы вернуть расположение царицы.

Московский двор напоминал сироту, просящего милостыню, он поживал так же задорно, как и при великом князе.

Мария Темрюковна не интересовала царя.

Совсем.

И он почти с улыбкой встречал слова Малюты, который буквально шипел от негодования:

– Государь, ты только пожелай, так мы этого Иуду Иванца Челяднина в мгновение ока придушим. Все тихо сделаем, так, что никто и не признает.

Иван Васильевич равнодушно смотрел на любимца, а потом изрекал, отрывая из глублины нутра чесночный дух:

– Не по-божески это. Господь дал ему жизнь, только он и может забрать, Григорий Лукьянович, – объявлял он голосом праведника. – Молиться мы будем, может, господь и отберет у него то, чем каждый муж гордиться должен. Ибо сказано в заповеди: «Не прелюбодействуй!» – И, слушая государя, можно было усомниться в том, что это именно он навесывался к женам бояр, когда те съезжали на дальние дачи. Во власти самодержца было подвесить конюшего за все места сразу, но Иван, уподобившись агнцу, терпеливо наблюдал за прелюбодеянием своей супружницы. – А теперь ступай, Григорий Лукьянович, и помолись за мою грешную женушку.

Месяц прошел в молитвах. Государь малость подустал, в мыслях он все чаще возвращался к Екатерине. Царь Иван распалил лучину и стал писать шведскому королю Эрику послание. С некоторых пор наследник викингов стал понимать его куда лучше, чем собственные бояре. Царь серьезно намеревался отнять у герцога Финляндского жену. Однако герцогиня оказалась на редкость верной женой, и когда шведский король пожелал заточить своего брата за вольнодумство в крепость, Екатерина предпочла разделить участь мужа.

Было время, когда Ивану казалось, что скоро Екатерина станет его женой. Шведские бароны обещали ему, что если герцогиня не пожелает сама прийти к постели русского самодержца, то ее приволакут, как провинившуюся девку.

Иван воспылал к Екатерине страстью, которая никак не подходила к его монашескому обличью. Иван Васильевич пальцами ласкал портрет Екатерины, и делал он это так нежно, как будто неживой картон приобрел плоть. Царь сгорал от страсти, он жаждал ее так горячо, как до этого не желал ни одну женщину. На Руси уже не оставалось ни одной девицы, которая была бы недоступной для него, и совсем неважно, во что она одета: в сарафан крестьянской девки или в дворянскую шубку. Для царя Ивана уже давно не существовало желания, которое бы не исполнилось, прихоти, которая не была бы удовлетворена. И сейчас Иван Васильевич впервые за много лет получил отказ.

Федор Сукин в очередной раз возвратился ни с чем.

Окольничий долго стоял перед воротами, опасаясь накликать на повинную голову опалу, а потом обреченно переступил монастырский двор.

Царя Федор Сукин признал в образе звонаря, который, взявшись обеими руками за каменные перила, с многоаршинной высоты колокольни спокойным взглядом созерцал далекое поле.

Сутулая одинокая фигура в черном.

Федор подумал о том, что на звонницу просто так не подняться и на каждом пролете придется отдыхать по несколько минут. Это молодой царь может прыгать зараз через несколько ступенек, а старость требует степенности.

Пока Федор Сукин забрался на самый верх, страхи улетучились совсем, и он бухнулся в ноги государю.

– Помилуй, государь Иван Васильевич, пожалей мою старость, – причитал Федор Сукин, – не сумел я для тебя Екатерину у Эрика высватать.

– Он что, свои обязательства не помнит?

– Упоминал я про обязательства, государь, и деньги его графьям сулил. Все без толку! Сейчас король и сам на троне не шибко крепко сидит, того и гляди его графья да бароны пинками шуганут.

– Вот как?

– Совсем обезумел Эрик, – приободрился малость окольничий. – Всех казнит, миловать никого не желает, а во дворце такой блуд развел, что и говорить грешно. Всем он осточертел, Иван Васильевич, того и гляди весь дворец разбежится.

– Что с братом его?

– Брата своего он под замком держит. Однако запоры эти не прочны, вельможи шведские освободить его хотят и вместо Эрика поставить.

– Эрик сам разговаривал с герцогиней? – перебил окольничего государь.

– Сам, Иван Васильевич. Если она согласится за тебя замуж пойти, обещал ей большую корысть – замок отдать, сундук каменьев. А как Екатерина упираться стала, то сказал, что казнит ее, а голову на площади для позора выставит. Герцогиня девка оказалась отчаянная, сняла на эти слова с пальца перстень и протянула королю, а на нем надпись: «Ничто, кроме смерти». Дескать, с герцогом Финляндским Иоанном ее только кончина разлучить способна.

– Она и вправду хороша, как о том молва глаголит?

– Хороша, батюшка, страсть как хороша, – глянул окольничий вниз, и голова от удивленного закружилась.

– Может, так оно и лучше, чего мне, чернецу, о плоть женскую поганиться? – резонно заметил Иван Васильевич. – Молиться мне нужно и в целомудрии пребывать. А ты спускайся с колокольни и не смерди в моей братии.

* * *

Мария Темрюковна поживала во дворце госпожой.

Скоро царица всех сенных девок обрядила в черкесские наряды, и боярышни не без удовольствия шастали по двору в новой обнове, выставляя напоказ роскошные тела. От одного вида выпрыгивающей из платья плоти у отроков першило в горле и сладко кружилась голова.

Царица любила ближние дачи, куда частенько заявлялась в сопровождении большого количества челяди. Три сотни сенных девушек и боярышень ехали верхом на широкогрудых жеребцах, помахивая весело плетеными нагайками, а по бокам государыню берегла суровая стража, которая спешила закричать на всякого нерадивого:

– Куда лезешь?! Ядрит твою!.. Государыня едет! С дороги, холопы! Государыня Мария Темрюковна едет!

Колымаги, ведомые проворными извозчиками, живо спускались на обочину, освобождали дорогу многочисленной страже, которая своим грозным видом больше напоминала военный отряд, чем дворовую челядь. Мария Темрюковна, не стесняясь посторонних глаз, жалась к конюшему так крепко, как поступает бедовая девка на позднем гулянье. Иван Федоров обнимал царицу за плечи, и стоявшая рядом стража была уверена в том, что конюший не ограничивается пухловатыми плечами царицы, а при случае запускает руку в более сокровенные места.

Иван Васильевич, находясь в слободе, казалось, совсем отстранился от дел. Даже послы, прежде чем отъехать в монастырь к государю, старались сначала предстать перед очами русской царицы, которая разбиралась в сложном клубке политических интриг не менее искусно, чем ее печальник муж. И, переговорив с царицей, часто послы уезжали ободренные, как если бы получили поддержку самого Ивана Васильевича.

Царица Мария ведала о том, что Иван Васильевич сватается к Екатерине, и в свою очередь делала все, чтобы помешать предстоящему браку: она пересылала деньги шведским вельможам, обещала северные русские земли за крохотные услуги и беспопылинную торговлю в новгородских землях. Мария Темрюковна умело боролась за свое существование, понимая, что в случае неудачи ее ждут крепкие стены Новодевичьего монастыря.

Мария Темрюковна громко смеялась, когда узнала, что Екатерина предпочла соседство крыс в королевских казематах лъстивому предложению Ивана сделаться русской царицей. На радостях царица Мария устроила пир, среди гостей которого были бояре земщины, заморские послы, а самые почетные места позанимали шведские послы – именно они донесли до государыни благую весть. Веселье без усталости длилось десять часов, многопитие совершалось при звоне бубенцов разудалых скоморохов, а ближе к утру, когда бояре упились совсем, Мария Темрюковна поманила к себе двух молоденьких княжичей и наказала:

– Проводите меня до спальных покоев, в ногах я слишком слаба стала. Боюсь, что не дойду.

И неслышно уволокла их через боковую дверь в свои покои, откуда уже не выпускала молодцов до самого вечера.

– Ты не позабыл наш разговор? – повернулась государыня к Федорову, который не сводил с шеи царицы глаз.

Боярин не однажды видел эту смуглую шею на белых накрахмаленных простынях, с откинутой назад головой, в эти минуты она казалась невероятно вытянутой, почти лебединой. И сама царица тогда походила на раненую птицу с разбросанными в обе стороны крыльями. Тело Марии было предназначено для ласк, а еще для того, чтобы носить украшения.

– Как можно, государыня? – собрал лоб в складки Иван Петрович.

Глаза боярина скользнули ниже, где выпирали упругие груди – напрягись они малость, и, кажется, с треском разойдется на спине золотая парча и нежный вызревший плод вывалится наружу.

– Опришнину я отменять не стану, – твердо заявила Мария Темрюковна, – всех бояр при себе оставляю, а самого Ивана взаперти держать стану под присмотром надежных слуг. А если будет характер показывать, так пусть стегают его розгами по плечам, как нечестивца поганого.

– Слушаюсь, государыня, – опустил Федоров глаза, будто бы в почтении. Очи остановились на округлых бедрах царицы, линии такие же плавные, какие бывают на куполах соборов.

Прошлой ночью Иван Федоров шарил пятерней по этим овалам: ласкал он государыню грубо, со всей животной страстью, на какую был способен изголодавшийся мужчина, и чем откровеннее была ласка конюшего, тем большее удовольствие она доставляла царице.

— Про Ивана разное толкуют, — продолжала Мария Темрюковна. Она уже давно отыскала взгляд конюшего, и маленькую радость доставлял ей слегка хрипловатый голос разволновавшегося боярина. Мария была уверена: не будь здесь всевидящей челяди, Иван Петрович давно сорвал бы с нее платье и голодным младенцем припал бы к царицыной груди. Для Марии важно было знать, что она по-прежнему притягательна, что, как и год назад, имеет над конюшим власть. Горные ручьи и снежные вершины родных кавказских гор дали ей столько силы, что царица могла повелевать не только московским двором, но и Русским государством. Руки конюшего были совсем рядом от нее, прошлой ночью он неистовствовал бесом, а сейчас походил на нашкодившего мальчишку, что не смеет глянуть в глаза строгому наставнику. — Мне рассказывали, что в монастыре Федька Басманов у царя вместо бабы и будто бы так государя своего ублажает, что ни одна девица так не сумеет.

— Хм, — только и выдал из себя Иван Петрович.

— А еще поговаривают, что в опришнину царь отбирает только тех, кто в содомском грехе силен.

— Хм, — не смел возражать царице конюший. — Царь Иван большой греховник, но крест уважал всегда. Бог ему судья, государыня. Вот Христу с царя и спрашивать.

— А после каждой вечерни они в такой грех впадают, что библейские проказники против Ивана Васильевича кажутся святыми.

— Как знать, Мария Темрюковна.

— Если государь так безобразничает, так почему должны страшиться плотского греха его холопы? — И царица уверенно положила жесткую ладонь конюшего себе на колено. — Некуда тебе спешить, Иван Петрович, на дачу мы нынче едем, а там ты у меня с недельку погостишь. Думаю, твоя женушка на государыню московскую обижаться не станет.

— Как прикажешь, государыня-царица. Весь я твой, — хрипло пообещал Иван Петрович, припоминая упругое тело государыни.

— И еще вот что хотела тебе сказать, Иван... От одного пакостника надобно бы мне избавиться.

— Кто же это такой, государыня?

— Боярин Мещерский.

— Вот оно как! — ахнул от неожиданности конюший, удивляясь, чем таким мог не угодить царице престарелый безобидный муж.

— Жить не могу, когда думаю о том, что шастает он по дворцу и государю обо мне пакости рассказывает.

— Нашептывает ли, царица? Не пожелал царь взять Мещерского в опришнину, вот он и слоняется по дворцу безо всякой нужды.

— Неспроста Иван во дворце Мещерского оставил, — воспалялась государыня, словно головешка на ветру. — Нужен он царю для того, чтобы за мной подсматривать и доносить обо всем. Ты вот что, Иван Петрович, шепни кому следует, что боярин Мещерский недоброе против государя замыслил, будто бы на смуту земских бояр подбивал.

— Сделаю, как скажешь, государыня.

* * *

Мария Темрюковна за последние три года малость расплылась, но это совсем не испортило ее стан, как будто даже наоборот, царица приобрела грацию, какая свойственна женщинам, еще не успевшим перешагнуть тридцатилетний рубеж, в то время как цвет лица у

нее оставался по-девичьи свежим и ни одна морщинка не осмелилась поцарапать легкую припухлость смугловатых щек.

Царица Мария походила на цветок, распутившийся в темень, и была такая же порочная, как сама ночь. Даже бусы из красного коралла, что тугой змеей обвивали ее гибкую шею, напоминали о грехе.

– Сегодня ты мой, – словно шелест ночной травы, доходил до конюшего шепот государыни, – ты мой господин и мой искушитель.

* * *

Малюта Скуратов уже неделю пропадал в Москве. Каждый день он слал в слободу к царю скороходов с посланием о том, что боярин Челяднин-Федоров посеял смуту среди вельмож и сейчас самый срок, чтобы наказать крамолу в покинутом отечестве. Скуратов писал о том, будто бы думные чины ропщут и желают видеть на царствии иного государя. Чернь же и вовсе без царской опеки осмелела, скоро в лучших людей начнут бросать камнями, а служивые люди от государевой обязанности уклоняются и недорослей к воеводам вести не желают. А третьего дня Ивашка Висковатый написал письмо, в котором он польского короля Сигизмунда-Августа приглашал на царство.

Иван Васильевич отсылал из слободы любимцу благословения, а с последним вестовым приложил небольшую грамотку: «Поступай, Григорий Лукьянович, так, как сердце твое праведное подсказывает, а я тебе в том преграды чинить не стану».

На следующий день Никитка-палач уже выкручивал руки отступникам на дыбе. В число несчастных попал и престарелый князь Мещерский. Старик терпеливо сносил бесчестие, отказывался от лживых писем, порочивших его, и глухо стонал:

– Не ведаю, о чем спрашиваете, ни в чем не повинен... Знаю, чьих это рук дело, Мария Темрюковна супротив меня недоброе затеяла.

– Так ты еще и на царицу наговариваешь?! – еще более распалялся Малюта Скуратов. – А ну-ка, Никитушка, добрая душа, подними боярину рученьки к самому потолку, а мы тут снизу его кострищем подогреем, чтобы не замерз.

Мещерский орал истошно, выплевывая ругательства, и поносил царицу, называя ее гулящей бабой и нехристом во плоти. Малюта только усмехался, понимая, что каждым неосторожным выкриком боярин приближается к плахе.

– А князь Пронский, сучонок ты эдакий, что к дочке твоей сватался, тоже в твоём заговоре состоит?

Князь Мещерский, подвешенный за руки к самому потолку, только улыбался, с такой высоты можно было бы посмотреть и на царя.

– А ты как думаешь, Григорий?

– Хотел свою дочь за Пронского отдать, а потом государя с престола согнать и своего зятя вместо Ивана Васильевича поставить? Так я говорю?!

Сверху все видится иначе, и Мещерский, преодолевая боль, заговорил:

– Может быть, ты и угадал, Григорий Лукьянович, никудышный у нас царь, если и быть кому на самодержавном троне, так только князю Пронскому. Он породовитее самого царя будет, да еще Челяднин-Федоров, конюший наш. Ума палата, не в пример царю-извергу.

– Никитушка, родимый, спускай стервеца на землю, вот он и признался! Ишь ты, чего удумал, первым хотел быть при самозваном государе. А не было ли среди зачинщиков мужей, что сейчас в окружении государя?

– Были, Григорий Лукьянович, все были! – разговорился Мещерский. – Старший Басманов был, а еще князь Вяземский.

Малюта Скуратов близко стоял к государю, но он всегда помнил о том, что между ними, словно вековые пни, торчали оба Басмановых и князь Вяземский. Видно, пришла пора выкорчевывать с корнем это зловоние.

– Ладно, уведи боярина в темницу, Никитушка, а мне завтра в слободу ехать, с государем о крамоле переговорить надобно.

* * *

В этот день государь набирал молодцев в опришнину.

Добрые отроки, числом сорок человек, стояли перед лучшими людьми опришной Думы и уверяли подозрительного Федора Басманова в ненависти к боярам.

– Я всю земщину люто ненавижу! – сотрясал один из отроков огромными руками, отчего русский чуб веселым бесенком прыгал у него на лбу.

И, глядя на огромные ладони отрока, охотно верилось в то, что, дай молодцу волю, сцепит он огромные ручища на горле у царских вельмож и не найдет силы, что сумела бы отодрать их от государевых обидчиков.

Однако Федька Басманов сомневаться умел:

– Ты из рода Ушатых. Уж не из тех ли земских Ушатых, что гадости государю чинили?

Детина оскорбился:

– Да как можно, Федор Алексеевич, не из князей я! Да и землицы у нас всего лишь сто двадцать четвертей, чего же с князьями ровняться? А Ушатые мы потому, что у прадеда нашего Никодима уши велики были. Ну как у пороса! – весело осклабился отрок. – Как растопырит их, так полсела зараз закрывал. Вот с него-то и пошел наш род.

Понимал отрок: признайся он в том, что знается с ярославскими князьями, не бывать ему на московском дворе, а потому как умел открещивался от опасного родства.

Дворян, знавшихся с боярами, с позором изгоняли с Александровской слободы, и мальчишки со смехом науськивали собак на отверженных, пока они не укрывались за околицей.

– А жена твоя с кем из бояр в родстве состоит? – вновь допытывался Басманов, и опришники, сидящие на лавках, так смотрели на отрока, как если бы были всамделишными судьями, и признайся отрок в том, что его любава – внучатая племянница князя Пронского, приговорят тогда к битию палками.

– Да она и князей-то сроду не видывала! – божился яростно отрок. – Из дворян бедных. При Иване Васильевиче, дедушке нынешнего государя, получил ее дед в кормление именице за ратный подвиг, вот так и поживали. Из глуши я ее приволок в столицу, а если кто и сватался к ней, так только медведь.

– Хорошо, быть тебе в опришниках! – записал Федор Басманов худородного молодца в личный полк государя. – И чтобы служил Ивану Васильевичу честно, с земщиной не знался, крамолу против самодержца выявлял, а если где лихо увидишь... Думе докладывай. Целуй крест на правде.

Отрок радостно прикладывался к кресту и с восторгом думал о том, что каждый день будет видеть самого царя.

Малюта Скуратов едва взглянул на нищих и дремучих мужиков, что в робкой растерянности жались в сенях и совсем скоро должны будут называться государевой опришной, и прошел в покои к царю.

Григорий Лукьянович был один из немногих людей, кто пользовался правом входить в государевы покои без доклада. Окликнет иной раз дежурного боярина, чтобы тот добудился самодержца, и входит вовнутрь избы, а стража прикрывает за ним дверь.

Так и в этот раз.

Малюта Скуратов прошел в государевы покои своей обычной косолапой походкой, но совсем не так, как это делает хозяин леса, когда пробирается через бурелом или раздвигает лапами валежник, где в каждом шаге исполина чувствуется несокрушимость, а совсем иначе, стушевываясь перед величием двуглавых орлов, что строго глядели на гостя с полуторасаженной высоты дверей.

Думный дворянин знал, что Иван сжигал себя мучительными постами, и, беседуя с самодержцем, Григорию порой чудилось, что ему отвечает мертвец.

– Недовольны бояре оприщиной, Иван Васильевич, – заговорил Григорий, едва перешагнув порог.

– Слушаю тебя, Малюта, далее продолжай.

– Бояре промеж себя кучкуются и смуту учинить жаждут.

Государь стоял у окна и смотрел во двор, где молодые опришники привязывали к поясу метлы.

– Вот как!

– Да, государь. Бояре дворян и дьяков на свою сторону привлекают, говорят, что ни к чему эта оприщина. Они во все концы Руси гонцов шлют и союзников ищут.

– Благое дело, Гришенька, что у тебя повсюду верные люди. Кто же среди этих смутянов главный?

– Не поверишь, государь... Челяднин-Федоров! Как поставил ты его во главе земщины, так он и стал смуту чинить.

– Никогда я боярам не доверял, Малюта.

– На оприщину, государь, опирайся. Не подведут тебя дворяне.

– Знаю я это, Григорий, потому и верю вам. Иное дело бояре, дай им волю, так они всю русскую землю по клочкам к себе на двор перетаскают. Только больно мне слышать это, Малюта. От кого я не ожидал пакости, так это от конюшего земского. Верил я ему, а потому над остальными возвысил, а он, оказывается, всегда мне зла желал. – Государь отошел от окна и подумал о молодых опришниках, что прилаживали к поясу метелки: будет им нынче работа.

Иван Петрович Челяднин-Федоров был одним из самых именитых бояр в русском государстве. Происходил он из старого московского дворянства, на котором всегда держалась власть российских государей. Челяднины вместе с Кошкиными, Морозовыми и Хромыми были с московскими князьями еще в то далекое время, когда они не помышляли о великодержавии и владимирских государей почитали, как старших братьев. А потому величие Челядниных не уменьшилось даже после того, как московские цари призвали к себе на службу младших князей.

Боярин держал в своих руках Конюший приказ так же уверенно, как когда-то его предки сиживали рядом с тронном московских князей. Но даже близость к трону не отдалила его от московского люда, и он пользовался среди горожан заслуженной любовью. Боярин не стеснялся обнажить голову даже тогда, когда с ним здоровался безродный нищий. И вместе с тем Иван Петрович был так же богат, как и знатен. Его пожертвования в церковь были так велики, что на них можно было содержать все богадельни Москвы. Дума без Челяднина представлялась такой же хилой, как древо, лишенное влаги, а отстранить Ивана Петровича от дворовых дел – это значило позабыть все те услуги, которые старомосковский боярский род столетиями оказывал хозяевам русской земли.

По силам ли, чтобы сковырнуть такую глыбину?

– А еще я узнал, что Ивашка Челяднин к царице хахалем бегаёт, – хмуро продолжал Малюта Скуратов.

– Вот как? – не очень удивился государь.

– Едва ли не каждый день в ее покоях ночует.

Отмерла у Ивана Васильевича страсть к черкесской княжне, и чувство стало похожим на пожелтевший осенний лист.

Не удивился самодержец и этой новости и отвечал без злобы:

– Сучке всегда кобель требуется, а конюший мужик справный. Ты вот что, Григорий Лукьянович, позорче присматривай за конюшим, я хочу знать все, о чем он замышляет. Хм... думаю, что на уме у него не только царицыны телеса.

– Государь, а что повелишь с остальными изменниками делать?

– Выпороть их палками на рыночной площади, а потом языки укоротить.

* * *

Столица, разделенная на земщину и опришнину, напоминала двух родных братьев, которые колотят друг дружку спьяну на праздники. Даже чернь, уподобившись боярам, поделилась на «опришников» и «земщину». Каждая из сторон посматривала на противоположную так, как если бы другая имела чертову отметину. Мужики, разделенные порознь, лупились с беспощадностью воинов на бранном поле.

Частенько можно было увидеть «опришнину» и «земщину» на берегу Неглинной, закатав рукава под самые плечи, сходились они грудь на грудь – кто во славу самодержца, а кто для почета боярского. Прознав о предстоящей битве, на крутую косу Неглинки частенько приходили и видные люди Москвы, чтобы поглазеть разудалую молодецкую потеху. Каждый из них ратовал за своих холопов со страстью, как будто это была не потешная битва, а всамделишное сражение. Когда разгоряченная кровь, подобно кипящей воде, брызгала через край, бояре отправляли посыльных в свои дворы за подмогой, и тогда безобидная забава превращалась в настоящее побоище: в ход шли не только кулаки, но и колья, вырванные из заборов.

Проигравшая сторона долго потом помнила нанесенную обиду, а выбитые зубы молодцы показывали гордо, совсем как ратники, похваляющиеся раной, полученной в жестоком сражении.

Возвращаться в Кремль Иван Васильевич не пожелал и на опришной стороне, за рекой Неглинкой, воздвиг огромную крепость, которая по размаху лишь немного уступала дворцу московских государей. Детинец был задуман так, чтобы с крутого берега была видна не только опальная сторона града, но и вся земщина. Крепость окружали каменные трехсаженные стены, через которые не сумела бы проникнуть даже самая хитроумная смута. Главные ворота, смотревшие на Кремль, были украшены железным львом, который, раскрыв огромную пасть, прижался к земле, готовый по малейшему знаку Ивана Васильевича броситься на распоясавшуюся земщину. На шпилях крепости, слегка приподняв крылья, застыли двуглавыя орлы и с двадцатисаженной высоты наблюдали за мятежной земщиной. Их взгляд, озирающий боярские дворы, был так же суров, как у государя, когда он расспрашивал про измену.

Вокруг крепости был вырыт огромный ров, а у каждой стены было выставлено по три дюжины пушек, и полтысячи стрельцов денно и ночью караулили покой государя.

– Измену вижу, Гришенька, – обыкновенно говорил встревоженный царь Скуратову-Бельскому. – Никому доверять нельзя. Боязно! Только ты у меня и остался. Все меня покинули, каждый мне лиха желает, только и дожидаются, когда я в иной мир отойду. Рано они меня со света сживают, не поддамся им я! Матушку с батюшкой бояре заморили, а меня отравить им не удастся. Потому и спрятался я здесь, крамолы боюсь.

– Не дадим тебя, государь, в обиду, – горячо заверял Григорий, – все мы за тебя живот положим.

Польские послы лукаво справлялись об опришнине, надеясь забавными анекдотами о русском царе повеселить двор, а заодно и всю Европу. Но вельможи, помня строжайший наказ Ивана Васильевича, отвечали всегда одинаково:

– Земля русская была единой, таковой и останется. Дружно мы живем и распрей промеж себя не ведаем. Говорите, что государь бояр губит?.. Так это он крамольников наказывает, а смутьянов и в вашем королевстве не жалуют.

Глава 3

Не поладив с царем, сложил с себя митрополичий сан отец Афанасий и удалился в Чудов монастырь, где был радушно принят братией.

Место русского пастыря оставалось свободным, но оно с недавнего времени больше напоминало раскаленные камни, о которые уже обжегся и казанский архиепископ Герман. Два дня только и пробыл старец на митрополичьем дворе, а когда владыка тихим и кротким словом осудил опришнину, государь повелел выставить его вещи перед крыльцом и отпустил с миром.

Паства без пастыря – это все равно что государство без присмотра, а митрополичий стол уже успел так запылиться, что новый владыка непременно испачкает епитрахиль. Вот потому никто из архиепископов не спешил на зов государя. Каждый из архиереев ссылаясь на боли в груди да на ломоту в пояснице, а ростовский владыка отписал, что помрет в дороге, коли выйдет из града.

Иван Васильевич почувствовал немое сопротивление иерархов, которое крепчало день ото дня, и он уже стал думать о том, что ему не суждено найти блаженнейшего на митрополичий стол совсем. И вот тогда царь призвал к себе Ивана Петровича Челяднина, брат которого – Федор Степанович Колычев – служил игуменом в Соловецком монастыре.

Братия прозвала его Твердый Филипп.

Более благоразумной кандидатуры Иван Васильевич не мог и пожелать. Отец Филипп был велик не только ростом, но и делами. Происходил монах из знатного московского рода Колычевых, чьи предки давали великим князьям не только сподвижников и воевод, но и духовборцев, чьими праведными делами крепло православие.

Познав почет при московском дворе, Федор Степанович поменял боярскую шапку на клобук чернеца, а скоро своим смирением сумел покорить даже строгих схимников, которые возвысили его над собой, сделав игуменом.

Соловецкий монастырь всегда был местом ссылки опальных чернецов и служивых людей. Природа была скудна – мох и лишайники на камнях и трава у ручьев, едва пробивающаяся между валунами. Отец Филипп оказался добрым хозяином, уже через три года его игуменства монастырь сумел облачиться в каменное одеяние. На огромных площадях острова чернецы устроили теплицы, в которых выращивали петрушку, лук, огурцы. Еще монахи торговали солью, которая шла по весу с серебром. Но самой большой победой в сражении с суровым климатом отец Филипп считал созревшие помидоры, которые прели в огромных парниках.

Монастырь напоминал величественного витязя в непробиваемых доспехах. Он был так могуч, что не страшился каленых стрел врагов: они непременно разобьются о его булыжную твердь в металлические брызги.

Федор Колычев был независим и характером напоминал удельных князей, которые любили, когда московские господа входят в чужой двор, снимая шапку, и чтобы коней своих непременно оставляли перед воротами. Федор и сам был почти великим князем, а Соловецкий монастырь вобрал в себя столько земли, что мог поспорить с московскими уделами.

Трижды Иван Васильевич отписывал Федору Степановичу наказ, чтоб явился во дворец пред светлые царские очи, и трижды игумен вежливо отговаривался. Отец Филипп ссылаясь на огромное северное хозяйство и хлопотные монастырские дела. Он был настолько смирен перед богом, что приказ царя земного для него уже давно не имел никакой силы.

Если кто и мог склонить игумена Филиппа явиться в Москву, так это его брат Иван Петрович Челяднин.

* * *

Попад в опалу, Иван Петрович был назначен воеводой в Полоцк и сносился с царем через посыльных, которые наказывали именитому воеводе словами государя:

– Бить литовцев, не жалея живота.

Именно это и делал воевода Челяднин.

Польский король, оценив мужество воеводы, пожелал Челяднина видеть у себя во дворце, суля в награду многие земли и милости. Подумал малость Иван Петрович и отослал королевское послание государю, надеясь за то получить его благосклонность. И когда явился скороход и объявил волю государя видеть Челяднина в Москве, боярин сразу подумал о том, что самодержец хочет снять с него незаслуженную опалу и посмеяться над наивностью короля. Ивану Челяднину хотелось поведать о том, что такие же письма получили и другие воеводы. Им тоже Сигизмунд-Август обещал покровительство и земли. Однако лучшие люди, смеясь над ним, отвечали, что согласятся с его предложением только в том случае, если августейший разделит литовские земли между боярами, а сам перейдет на службу к русскому царю.

Челяднин подумал о том, что государь тоже обожает всякие розыгрыши, только за одну такую шутку способен простить его и опалу поменять на милость. Неужно позабыл царь, что когда-то на его свадьбе он был тысяцким и разъезжал под окнами с саблей наголо, оберегая первую брачную ночь молодых.

Бывший конюший на зов государя явился сразу: и недели не прошло, как он спешился на берегу Неглинки, где гордым витязем высился над посадами опришный замок.

Едва переступил воевода порог Передней комнаты, а Иван Васильевич вместо здравия спросил о Колычеве Федоре:

– Иван Петрович, братца давно не видывал, игумена Филиппа?

Федор заезжал к Челяднину в прошлом месяце. Привез с собой из северной стороны гостинцев: краснощеких помидор и оранжевых апельсинов. Хвалил игумен соловецкие теплицы и все зазывал к себе в гости. Однако Ивану Петровичу было не до веселья – придавила его царская опала, вот и спотыкался он на ровных местах.

– Месяца не прошло, как встречался я с Федором. Аль недоброе чего приключилось с братом, государь? – растерялся малость Иван Петрович.

– Слышал я, что ты очень дружен со своим братом?

Покинул государь свое место и приблизился к воеводе.

– Прощение хочешь получить, Иван Петрович? Желаешь вместо Полоцка в Москве быть и рядом со своим государем, как и прежде, сживать?

И Челяднин-Федоров с тоской подумал о царице Марии.

– Как же мне не желать такой чести, Иван Васильевич. Душу готов заложить, только чтобы твой гнев умерить.

– Я так много не прошу, – улыбнулся царь. – Вот что, Иван Петрович, уговори братца своего московскую митрополию принять. Будет тебе тогда честь.

* * *

Федор Степанович Колычев отбыл в Москву в благодатный травень, когда отошли холодные ветры и луга стали такими же плодородными, как огород у заботливой хозяйки. Май заявился неожиданно: ворвался в зиму витязем Победоносцем и ковырнул каленым острием остатки сугробов, которые тотчас растопились и ушли холодными ручьями. Трава

поднялась высоко, а кроны деревьев сомкнулись между собой плотно, словно плечи исполинов, и прятали от светила мягкие покрывала из благо-уханных трав и цветов.

Кони бежали бойко, яростно срывая копытами бутоны цветов. Федор Степанович думал о братии. В безрадостном настроении он оставил монастырь. Кручина была сродни северному ветру – исхолодило все нутро да подморозило, словно первый подзимок. Расставаться с братией было тяжело. Вопреки обычаю, снял с себя клобук игумен, подставляя северной прохладе лицо, и седые волосы растрепались, а потом, поклонившись молчаливым чернецам, вышедшим проводить владыку до ворот, махнул посохом и наказал молоденькому послушнику:

– Поезжай пока. Я следом пойду.

Владыка стоял на берегу Студеного моря.

Прямой. Гордый. В черной рясе он казался осколком валуна, поросшего темным лишайником.

А потом неторопливо пошел ко двору московского господина.

Не по нутру Федору Степановичу были приглашения царя, оттого и сказывался он всякий раз больным, и только нижайшая просьба любезного брата Ивана Челяднина заставила упрямого игумена оставить обитель и отправиться к Ивану Васильевичу.

Игумен Филипп был один из немногих владык на Руси, кто смел перечить царю. Именно он год назад призвал иерархов отписать Ивану письмо, призвав не мучить русскую землю раздором, и первый поставил свою подпись под сердобольным посланием.

Сердце игумена наполнялось смятением. Впервые он выезжал в Москву без радости, а монахи уже видели в Филиппе будущего блаженнейшего владыку и наказывали строго:

– Отец Филипп, ты уж объясни царю, что негоже отрывать голову от туловища. Скажи Ивану Васильевичу, что нечего делить нашу землю на опришнину и земщину. Нераздельна она должна быть, как и вера.

Если бы не божья правда, так и не надумал бы Федор Колычев оставить паству, а вместе с ней хлопотное монашеское хозяйство.

Государь встречал игумена Соловецкого монастыря ласково. Повелел с посадов к Кремлю согнать всех черных и служивых людей, чтобы держали они кресты и церковные хоругви, а как повозка владыки подъедет к Кремлевскому холму, пусть певчие подивят гостя слаженным песнопением и доброй слезой.

Бояре и челядь, как в праздный день, были одеты в золотые кафтаны и выстроились в два ряда от кремлевских ворот аж до палат государя.

Все было готово к встрече владыки.

Пономарь уже давно взобрался на Архангельский собор и непременно первым хотел заприметить повозку блаженнейшего Филиппа, чтобы поскорее порадовать государя дивным звоном любимого колокола. Повозка игумена двигалась скромно, без пышного сопровождения и могла бы затеряться среди трех дюжин таких же, подъезжавших к Кремлевскому бугру, если бы не белые кресты на бортах.

Потянул пономарь что есть силы за пеньковый канат и отпустил с махом едва подъемный язык, и тотчас воздух сотряс на удивление чистый и звенящий глас. А следом наперегонки засмеялись колокола поменьше.

Не ожидал владыка такого приема.

Вышел из колымаги Филипп, растрогался и, едва не роняя слезу, благословил собравшийся народ на обе стороны. А когда стал подходить к Китайгородской стене, сам царь вышел навстречу и на виду у собравшегося люда поцеловал руку игумена и попросил благословения.

Помолчал малость Филипп, после чего изрек смиренно:

– Живи по-божески, государь.

А песнопение и впрямь было слаженным, словно посадские ежедневно выстаивали службу на клиросе, чтобы сейчас подивить северного владыку дивными голосами и доброй страстью, с какой вытягивалась «здравница».

Бояре сгибались перед владыкой так низко, словно он был уже московский митрополит, а не игумен далекого монастыря, каких только в северной Руси можно было бы насчитать целую дюжину.

И все-таки Филипп был один из тех немногих, о ком ходил слух как о ратоборце веры и рачительном хозяине. Игумен прославился делами и без конца приумножал богатства Соловецкого монастыря, а соль и красную рыбу продавал едва ли не во все королевские дворы Европы. Монахи сумели утеплить стылые земли так добротнo, что они давали такой урожай овощей, какого не знала даже черноземная полоса, и, удивляя заезжих купцов, Филипп любил угощать их фруктами, выращенными в парниках. И купцы не без удивления признавали, что такими плодами они потчевались только на берегах теплых морей.

Соловецкий монастырь – это некое государство, где он, игумен Филипп, – воевода, настоятель и отец. Даже царский дворец может показаться крохой в сравнении с бескрайностью северных земель.

В мирской жизни лучшие люди помнили владыку как Федора Степановича. Боярином он был неугомонным, без конца встречал в речи самого государя, и слова его были подобны плети, что непременно хочет перебить толстое полено. Колычев любил стоять в рост, да так широко, что рядом с собой не терпел никого. Высокомерный с великими, он был необычайно прост в общении с чернью. И бояре осознавали, что такого мужа хорошо иметь в друзьях – краюху от себя оторвет, а ближнего накормит. Язык его был таким острым, что напоминал перец, какой продавали персы на базарах. Федор Степанович ушел в братию потому, что опалился на боярстве, но именно сейчас оно призвало его в Москву, чтобы он, сделавшись булавой, сумел разбить твердь Иванова правления.

Путь от послушника до игумена так же далек, как расстояние от истопника до думного чина, и только немногие способны добраться до самой вершины. Федор Степанович сумел проделать этот путь дважды: в мирской жизни он стал боярином, а в чернецах сделался игуменом. Бояре знали, что Колычев всегда охотно взваливал на свои плечи любой груз, словно проверял на крепость их недюжинную силу.

Филипп заходил в царский дворец неторопливо, шел достойно, будто и вправду был владыка земли русской; во взгляде твердость, которая кричала: «Потеснись, Иван Васильевич, Колычев идет!» И, поднимаясь все выше и выше по Благовещенской лестнице, он уверенно занял то место, какое ему отводили бояре. Явился старшой, духовный наставник русской земли, а уж у него хватит духу, чтобы свернуть шею опришнине.

Иван Васильевич пожелал обедать с владыкой наедине.

Стол уже был заставлен мясом и рыбой, в братинах хмельной квас и заморские вина. А рядышком стояло три десятка стольников, готовых в любую секунду метнуться к дверям, чтобы исполнить любое желание самодержца или именитого гостя.

Мяса владыка отведывать не стал: почти брезгливо посмотрел на огромную свиную голову, которая заняла чуть не половину стола, и, ковырнув квашеную капусту, заметил:

– Не могу я, Иван Васильевич, пищу эту принять. Коли ведаешь, схимник я. Бога гневить не стану, а вот кваску твоего отведаю, знаю, что настаиваешь ты его отменно.

Квас Федор Степанович пил от души, как приложился к братине, больше напоминающей ведро, так и осушил ее наполовину. Могло показаться, что будто бы всю дорогу владыка специально не пил, а только дожидался царского стола, чтобы сполна утолить жажду. А когда наконец насытился, спросил:

– Говори, Иван Васильевич, чего ты меня из монастыря призвал?

Государь в отличие от владыки постом себя не терзал, а потому ел мяса и рыбы столько, сколько вмещала утроба; потом отрезал у свиной головы губы, зажевал их с аппетитом.

– Вот что я хотел тебе сказать, Федор Степанович, осиротела митрополия без поводыря. Блуд всюду! Воровство! Убивства! Только ты и способен на праведный путь нас, нечестивцев, вывести. Прими в руки скипетр духовный, – хмелел самодержец.

– Чем же, государь, архиепископ Герман не угоден тебе был? – поинтересовался невесело игумен.

Вот он Колычев, вся его мятежная порода выпирает в этом вопросе. Едва слышно спросил, а слова прозвучали так громко, как будто с амвона проорал. Под самый дых ударил.

– Не тот он человек, Федор Степанович, не нужен он царствию. Поучает меня как мальчика малого, а ведь я не безродное дите. Да и из пеленок уже давно вырос. Не место ему подле государя, потому и отвадил его со двора.

– А может, потому это случилось, государь, что ближние твои люди услышали, как Герман опришнину не хвалил и дал владыкам слово отговорить тебя от нее.

– Не желаю я ссориться с тобой, Федор Степанович, и так уже на меня иерархи зло глядят, а если еще и тебя прогоню, так благословения высочайшего получить не от кого будет. Слезно прошу тебя, владыка Филипп, возьми московскую митрополию в свои руки.

– Не отказываюсь я, Иван Васильевич, от митрополичьего сана. Всей душой хочу послужить тебе, государь, и пастве православной, только отступись ты от опришнины, не ломай Русь надвое. Будь же всякому, как и прежде, господином!

Вечером Федора посетил Челяднин. Угрюмым пришел брат, не таков он бывал прежде, иной раз звонким гоготанием сотрясал яруса, и казалось, что дворец мог рассыпаться по камешку от гроыхания.

Тяжелой ношей была государева нелюбовь.

Бывало, как разговаряются братья, даже дня не хватало, а сейчас, хоть и не виделись давно, только по два слова и сказали друг другу:

– Здравствуй, Федор.

– Рад видеть тебя, Иван.

Будто и обмолвиться нечем.

Посидев малость на табурете, поскрипев половицами, Челяднин признался:

– Пропадем мы без тебя, Федор. Раздавит нас царь, как яичную скорлупу, и такой треск по Руси пойдет, что во всех ее уголках слышно будет. Сумеешь ты государя образумить? Только на тебя одного надежда осталась.

– Чем же я могу помочь вам? Далека я от мирской жизни.

– Умом ты велик, да и хитрости тебе не занимать. Согласись митрополитом стать. Обещай царю в дела его опришные не вступать, а там, может быть, по-другому все обернется.

– Как же я один царя могу уговорить?

– Заблуждаешься, брат, не один ты будешь. Все мы заединщики! Если ты не согласишься московским владыкой быть, то Иван на митрополичий стол другого посадит, кто попокладистее. Не оставь нас, Федор, всели надежду. Мы тут всем миром хотим собраться, отсылаем гонцов во все концы. Ищем таких, кто с царем не согласен. А там посмотрим, может быть, господь и подскажет нам мудрое решение. А такой человек, как ты, укрепит нас своей силой.

– Чего же вы все-таки дальше думаете делать?

– Дальше? – помедлил малость Иван Челяднин, словно призадумался. – Не буду от тебя скрывать, брат, много мы думаем об этом. Ночи порой не сплю! Думается нам, что вместо Ивана брата его двоюродного на престол надобно ставить, князя Старицкого. Он-то

уж старины не порушит. Мы тут вестового к нему посылали, так князь Владимир обещал править так, как при прадедах наших бывало.

– Что же ты такое говоришь, Ванюша! Окстись! Мятеж это, супротив государя идти.

– Не отступлюсь, Федор. Только иноземный враг мог сказать, что повыдергает с корнем все старейшие боярские роды. Воюет с нами царь Иван, как с нечестивым племенем. Пахарем хочет государь пройти по боярскому полю, и что не по его – с борозды прочь!.. И в сторону. Не боишься, что когда-нибудь на краю поля и твоя голова оказаться может? Ты хоть человек духовный, но все-таки тоже старого боярского рода. Если бы пять лет назад худое кто о царе молвил, так я бы его самолично придушил, а сейчас, прости меня, смерти государю желаю... Ладно, пойду я, брат, засиделся у тебя, а на дворе ночь уже давно. Подле моего дома государь надсмотрщиков тайных поставил, каждый мой шаг ему сообщают. Как бы не догадались о нашем сговоре, тогда и тебя опала не минует.

Приобняв на прощание брата, Иван ушел.

Владыка мучился в бессоннице до самых петухов, а когда прокричал последний и самый истошный, он крепко уснул, приняв окончательное решение.

Была пятница – день докладов государю, первым обещался говорить владыка Соловецкого монастыря Филипп. Бояре расселись по породе, локтями отодвинули от себя низшие чины и сидели настолько свободно, что места хватило бы еще на троих.

Владыка Филипп занял место среди князей, впереди многих старейших бояр, и никто не смел возразить Колычеву, зная, что некогда здесь сиживал его батюшка.

Бояре всегда ревностно относились к местничеству и драли с позором за волосы всякого, кто осмеливался сесть рядышком с именитыми боярскими родами, а тут подошел не спеша Федор Степанович, посмотрел хмуро на всех лучших людей сверху вниз и сказал невесело Басманову:

– Ну-ка, подвинься! Не по чину расселся. Никогда Колычевы ниже Басмановых не сиживали, – и отодвинул зараз всех.

При появлении государя думные чины поднялись и наперегонки стали отбивать поклоны. Челобитие выходило таким шибким, будто лучшие люди задались себе целью переколотить лбы. Один Филипп осмелился поприветствовать Ивана Васильевича легким поклоном, да тут же распрямился верстовым столбом. Владыка стоял среди гнущихся бояр, словно великий дуб среди луговой травы. Если кому и служил игумен Филипп, так это богу, а потому подбородок его торчал строптиво и очень напоминал фигу, выставленную напоказ.

Улыбнулся едва Иван Васильевич, но сердиться по пустяшному делу не стал.

– Что же ты скажешь нам сегодня, Федор Степанович? Надумал московским митрополитом быть... или все-таки решил в паству свою вернуться?

– Не вернусь, государь. Согласен я быть духовником московским, – отвечал Филипп.

– А ты дальше молви, Федор Степанович, у нас с тобой договор не только об этом был.

– Не забыл я, государь... помню! Крест целую, что не буду вступаться в дела оприш-
ные.

– Верно молвил, Федор Степанович, что же ты все-таки позабыл?

– Митрополию из-за опришнины не оставляю.

– Ну, вот мы с тобой и поладили, владыка, – поднялся с царского места Иван Васильевич, чтобы обнять несговорчивого игумена.

– Только вот что я хочу добавить, государь...

– Так, говори, что ты там еще надумал, – нахмурился самодержец.

– В дела опришные вступаться не буду, но вот печаловаться за людей православных – это мой долг перед паствой. Не обессудь, государь, для этого я церковью приставлен, чтобы отцом духовным им быть.

Замерли государевы объятия в пяди от владыки. Крякнул с досады Иван Васильевич, но не пожелал более сделать навстречу и шагу.

Глава 4

Государь был порывист во всем, а усердное бдение менялось на желание и страсть так же быстро, как уходящее лето рождает осень.

Скоро царя изрядно утомил строгий монашеский устав, и он все чаще стал приглашать в Александровскую слободу гусельников и прочих затейников, а потом и вовсе повелел выделить им отдельные покои, распорядился выдать рясы и собственноручно положил каждому из них на голову скуфью и принял с честью в опришнину.

Теперь между молитвами можно было услышать слаженное пение музыкантов, которые, как умели, скрашивали невыразительную жизнь чернецов. А когда, по подсказке Вяземского, государь велел привести и девиц, радости монахов-опришников не было предела.

«Чернецы» сами вызвались отобрать для государева ужина девиц. Старшим среди них был поставлен Афанасий Вяземский, который как никто умел ценить девичью красу и ведал, каких баб государь предпочитает. А потому с Александровской слободы были собраны девицы не старше восемнадцати годков: длинноногие и грудастые, у которых седалище напоминало сдобные караваи.

Опришники с пьяным весельем объезжали даже дальние деревеньки и, ссылаясь на государево слово, уводили из-под родительского крова самых красивых девиц; тешили покой родителей нехитрым обманом:

– Ну чего вы ревете, господа?! К государеву двору девку забираем. И нечего вой поднимать, в почете девица жить станет. Сам государь целовать ее будет. Ха-ха-ха! На вот тебе золотой, – совал Афанасий Вяземский в руки хозяина монету, – все-таки не щенка забираю, а дочь!

И, посадив девку на телегу, чернецы увозили ее в монастырь.

Девицам в божьей обители и впрямь было раздольно. Поначалу-то боязно, слишком много худого слышно об опришниках в округе, а как переступили монашеский двор, как узрели молодца-государя, так и языка лишились. А еще царские детины в монастыре дюже ласковые: доброе словечко на ушко шепнут, ожерелья яхонтовые дарят.

И в первую же ночь половина прибывших девок лишалась невинности. Такой истошный ор стоял в монастыре, что святые, запечатленные на фресках, затыкали уши, а мощи праведников, покоившиеся в крепких домовинах, не знали, куда деваться.

Молитвы опришников теперь зазвучали куда звонче, чем ранее, и братия уже не сомневалась в том, что от такого усердия их слова наверняка достигнут ушей господа. Они научились простаивать по несколько часов кряду в бдении и в страстных молитвах поразбивали головы. Расквашенными лбами опришники хвастались друг перед другом с той охотой, с какой рыцари гордятся ранами, полученными на ристалище. Эти кровавые мозоли на лбу больше походили на знаки отличия, которыми государь частенько награждает особо приближенных. Полученные шишки как бы приобщали их к некому единству, которое называется государевой дружиной.

Опришники старались не отстать от государя всея Руси даже в малом: если они замечали на рясе у Ивана махонькую дырочку, то тут же надрывали одеяние в том же самом месте; если видели, что государь облачался в поношенное исподнее, то старались раздобыть такое же. В неистовстве опришники старались превзойти государя, а когда пели на клиросе, то можно было не сомневаться в том, что господь пожимает плечами, слушая луженые и охрипшие глотки сподвижников Ивана Васильевича. Монастырь стал походить на веселый балаганчик, где место было и задорному веселью, и неистовому греху.

Не чуждался всеобщего веселья и царь-государь. Он вдруг почувствовал, что мужеское желание за усердным челобитием начинает помалу угасать, и, опасаясь, что оно может

исчезнуть совсем, самодержец решил воскресить его куда более земными делами, чем обращением к небесному создателю. Иван решился осмотреть всех девок, доставленных в Александровскую слободу.

Царь повелел раздеть девок до исподней рубахи, а потом важно прохаживался вдоль смущенного строя, не стесняясь, стягивал узенькие тесемочки на плечиках и заглядывал под самый низ, с улыбкой удовольствия созерцая крепость девичьего тела. А потом остановился напротив одной из них, которая возвышалась в сравнении с другими вавилонской башней, изрек, поджав губу:

– А ты велика!.. Экая громадина! Не бывало у меня еще таких. Прыгать нужно, чтобы поцеловать. Видать, молока много пьешь, девица?

– Пью, государь.

– В нашем монастыре никто тебя еще не испортил? – любопытствовал царь.

– Не успели покудова, Иван Васильевич.

– Вот и славно.

И пошел дальше.

А ближние люди уже окружили девку заботой. Накинули на плечи парчовое платье, а стольники уже держат обувь с пряжками и шубу нагольную.

Иван Васильевич вполглаза подсматривал за Оттоманской Портой и оттого, по подобию султана, держал подле себя стольников, которые успешно справлялись с ролью евнухов. Им также запрещалось касаться царских избранниц; в чем они не могли себе отказать, так эта в подглядывании через дверные щели за переодеванием царских любов, и редкий муж в эти минуты мог сдержать восторженный вздох.

Потешно жилось Ивану Васильевичу в монастыре, а когда много грешишь, то и каяться надо по-особому: рьяно, с громогласными причитаниями, как будто на замаливание грехов господом богом отводилось всего лишь мгновение. Когда прегрешения были особенно велики, Иван Васильевич носил власяницу и, презирая неудобства, мог спать на твердом ложе.

Мария не интересовала Ивана. Совсем. А когда Малюта в очередной раз заводил разговор о том, что царица опять поменяла любовника и появляется со своими обожателями в открытых колымагах и совсем не прячет лица, государь только отмахивался от надоедливой и твердил:

– Пускай делает все, что пожелает, а нам в монастыре живется без нее не худо.

Иван Васильевич вправду тужить не любил. Он повелевал облачаться опришникам в золотую парчу, и слуги с радостью исполняли распоряжение государя и представляли перед девицами во всем великолепии воскресных нарядов.

Иван Васильевич усаживал девок на колени и приговаривал ласково:

– Девоньки вы мои! Сокровища мои. Как же я без вас? Ежели расстанусь с вами, то белый свет мне не мил станет!

Девки весело хихикали и поглядывали на государя плутоватыми глазами: одно дело – на гулянье иной раз парень приобнимет, и совсем другое, когда у государя на коленях сживать. Жеманницы уже слыхали про то, что три девки от Ивана Васильевича понесли. Царь не отправил их восвояси к родителям, не спровадил с позором в женский монастырь, а ткнул перстом на трех отроков, проходивших мимо, и объявил:

– Эй, плуты, подите сюда... Невест я вам сосватал. Вы не смотрите, что они брюхатые, девки эти очень добрые. Сам проверял. Ха-ха-ха! А чтобы вам очень обидно не было, земли от казны получите.

Не обижал Иван Васильевич девиц и, попользовавшись, пристраивал как мог. А потому царские приживалки служили всюду – в Кормовом и Большом дворцах, на Скотном дворе и даже служили в мастерицах, а одна из них и вовсе была белошвейей.

Иван Васильевич повелел выстроить для былых зазноб целую деревню, и уже очень скоро бегали по лугам государевы отпрыски.

Теперь царь надолго оставлял свое игуменство, и его можно было встретить в лесу или в поле в окружении красных девок, которые вертелись вокруг него, словно щенки подле доброго хозяина. Государь не гнушался девичьими играми, позволял бесстыдницам одевать себе вместо царственного венца венки из ромашек, прыгал с ними через костры, но особенно полюбились ему «жмурки». Царь ловил девок с завязанными глазами и попавшуюся в его объятия целовал в горящие уста.

Государеву радость омрачил Малюта Скуратов, который появился однажды в Александровской слободе темной ночью, дьяволом проскакал до монастыря и что есть силы заколотил в ворота стальным кольцом.

– Вратник, где ты там?! Язви тебя, нелегкая! Где ты там носишься? А может быть, уснул?! – прикрикнул он на перепуганного детину. – Вот узнает про твое лихоимство государь, достанется тогда тебе!

– Не губи, брат, не говори государю! – взмолился перепуганный вратник-монах. – Не простит меня государь. И так уже однажды я за шалость поплатился.

Григорий Лукьянович признал в монахе наказанного отрока: однажды тот осмелился уснуть во время проповеди, за что неделю отсидел в подвале, питаясь одним намоченным хлебом. Второго проступка Иван Васильевич обычно не спускал и гнал нерадивца из опришникины, а эта немилость настолько тяжела, что даже поцелуй плетей может показаться лаской.

– Ладно, смотри у меня, – погрозил Григорий Лукьянович кнутом. – Если что не так, государь про все твои провинности узнает. – Малюта прошел на монастырский двор, сознавая, что приобрел еще одного раба навечно.

Малюта прибыл в тот редкий день, когда братия проспала не только утреню, но и обедню. Григорию Лукьяновичу сообщили о том, что трое суток «чернецы» бражничали и повыпили все запасы вина, какие хранились в монастыре еще со времени княжения Ивана Калиты. Однако в келье игумена Ивана брезжил свет. Подумав, Малюта решил навестить самодержавного владыку.

Иван Васильевич склонился над книгой. Казалось, что он даже не хотел замечать присутствия Малюты, а Григорий не смел отрывать государя от чтения даже нечаянным шорохом одежд.

Наконец царь обратил внимание на холопа.

– Я вот сейчас житие святых читаю, Григорий Лукьянович. Лучшего места, чем монастырские стены, для чтения и не сыскать, Гришенька. Сколько же среди них грешников было, прежде чем каждый из них сумел прозреть и взор свой к богу обратить. А ведомо ли тебе, Григорий, почему?

– Почему же, государь?

– Потому что окунулись мужи в святом духе, как в купели.

– Вот оно как.

– Да, Гришенька. Я ведь тоже большой грешник, может, и на меня сияние божие снизойдет? – И, помолчав немного, спросил: – С чем пришел, Малюта?

– Дурные вести я принес, государь.

– Вот как? Этим ты меня не удивишь, Григорий. Что ни день, так новая беда на дворе. Запужал ты меня совсем. Верить более никому не могу. Что же на этот раз приключилось? – хмурился государь.

– Новое лихо от Челяднина-Федорова идет. Совокупился конюший с иными боярами и на царство князя Владимира, брата твоего двоюродного, вместо тебя ставить хотят. Отписали князю Старицкому список бояр и воевод, на кого он может опереться во время мятежа. Что делать прикажешь, царь?

– И сколько же таких нехристей набралось, что против государевой воли надумали подняться?

– Триста душ наберется! Только мне думается, государь, не желает конюший видеть князя Владимира Старицкого на престоле. Мой слухач разговор Челяднина с царицей услышал, так она ему сразу сказала, чтобы он на себя царственный венец примерил.

– От Марии лихо идет, от благоверной моей. Смерти она мне желает и своего полубовника на троне московских царей увидеть хочет. Только не бывает тому! Что у тебя есть еще, Григорий Лукьянович?

Григорий медлил, он как будто бы раздумывал: «А стоит ли государя огорчать всей правдой?» А потом отважился:

– Некоторые опришники клятву посмели нарушить, а ведь крест целовали, что не будут вступаться в земщину. Слюбились с боярами так крепко, что их теперь и клещами друг от дружки не отодрать.

– Говори дальше, Гришенька, – ласково требовал Иван Васильевич, – кто же из опришников своему государю изменить посмел?

– Перво-наперво это Колычевы... за ними идут князья Ухтомские, Салтыковы и Плещеевы зло затаили. Да разве всех сразу назовешь!

Прикрыл игумен Иван полезную книгу, перекрестился на крест у изголовья, что занял едва ли не всю стену, и спросил:

– Что же ты мне посоветуешь делать, Гришенька, ежели враг в мой дом сумел проникнуть? Я ли их не любил? Может, заботился о них мало? Разве я не для того опришнину создавал, чтоб оберегали вы своего государя от лихоимства и коварства многого? Кому я сейчас верить должен, если предадут меня самые ближние?.. Один я, Гришенька, остался, во всем белом свете один. Все меня бросили! Каждый мне зла хочет, только и ждут, когда я на вечный покой отправлюсь, чтобы царствие предков моих боголюбивых дотла разорить, – жалился государь. И Малюта мог поклясться, что глубокая темная тень прятала государевы слезы. – Только не бывает этому! – вскричал вдруг государь. – Если уходить стану, то заберу с собой всю мятежную челядь!

– Ты только скажи, государь, так я их всех в единую ночь повяжу да по темницам и ямам растолкаю, – решился Григорий Лукьянович.

Вздыхнул государь тяжело.

– Не могу я сделать этого без благословения владыки. Пастырь он мой духовный, вот завтра в Москву поеду.

* * *

Иван Васильевич Александровскую слободу покидал нечасто. Если выезжал в Москву, то с пышным сопровождением. Несколько сотен молодцов в четыре ряда ехали верхом впереди государевой кареты, столько же позади. Карета самодержца была запряжена шестеркой черных жеребцов, которые так горделиво выбрасывали вперед ноги, как будто и в самом деле подозревали о том, какую бесценную ношу им приходится возить. Выезд царского поезда сопровождался грохотом цепей, которые опришники подобрали со всей округи и подвесили под низ государевой кареты. Государева повозка, увешенная гроздьями чугунных цепей, отяжелела вдвое и двигалась скрипя, с побрякиванием, напоминая дремучего старца, преодолевающего колдобины. А грохот стоял такой, что на полверсты заглушал топот лошадей и выкрики всадников. Если не ведать о том, что это выезд самодержца, можно было подумать, будто бы разверзнулись недра и выпустили на божий свет сатану наказывать грешников. И прежде чем пасть ниц, крестьяне неистово крестились, как будто и впрямь повстречались с нечистой силой.

Иван Васильевич приближался к Москве.

Давно он не был во дворце, казалось, былая дорога заросла сорной травой, но Ивана Васильевича здесь дожидались: отворились немедленно ворота и впустили хозяина в отчий дом.

Государева карета остановилась подле Успенского собора, где на службе стоял владыка Филипп. Московский митрополит был красив в своем архиерейском обличье. Епитрахиль и сутана вышиты золотом, на голове белый клобук, а на груди три креста, один из которых был подарок Константинопольского патриарха, этим распятием Филипп дорожил особенно, не снимая его совсем.

Иван Васильевич, не смея пробираться через головы мирян, занял место в самом углу и выстоял службу до конца, а когда проповедь завершилась сладостным: «Алилуйя!», государь прошел ближе к алтарю.

– Владыка отец Филипп, с бедой великой явился русский государь пред твои светлые очи. Одолели меня вороги, погибли моей жаждут. Проникли изменники в мой дворец, заколоть меня хотят, который месяц под рясой броню таскаю. Даже в доме своем покоя не ведаю. Говорю тебе, владыка, всю правду, как отцу моему духовному, даже царица смерти моей жаждет, чтобы самой в Москве править, а вместо меня своего полюбовника на трон посадить желает.

– Чего же ты от меня хочешь, государь?

– Прошу тебя, блаженнейший Филипп, дай мне благословение, чтобы посчитаться с врагами своими. Прошу тебя!.. Заклинаю!.. Руки твои целую, старец!

Филипп, стоявший у алтаря, казался скалой, а камню подобает быть холодным.

– А сам ты, Иван Васильевич, чем лучше волка, забравшегося в овчарню? Режешь без разбору и правого и виноватого. Несправедлив ты, государь, а суда на тебя не сыскать, – сдержанно отвечал митрополит.

– Прошу тебя, святой отец, помолчи!

– Может, правда тебе моя не понравилась?

– Христом богом тебя заклинаю, умолкни! Об одном тебя прошу, благослови меня на праведное дело.

– Молчать ты мне велишь, государь? Только как же я могу умолкнуть, если я за паству свою в ответе? Если я печальник всей земли русской! Не позволю тебе, государь, крушить людей безвинно.

– Владыка, дай благословение.

– Нет!

– Владыка, умоляю тебя, не делай так, чтобы гнев мой праведный пал на твою голову.

– Нет!.. А теперь с миром ступай из божьего храма, Иван Васильевич.

– Ох, смотри, Филипп, ох, смотри! – словно плевком, уносил на себе несогласие митрополита самодержец. – Грозы ты над собой не видишь.

Иван Васильевич умолк и в скорбном молчании увел за собой притихших опришников.

* * *

Малюта и раньше напоминал князя тьмы, а сейчас, уподобившись злому гению, и вовсе переселился в подвалы. Особый гнев думного дворянина испытали на себе любимцы князя Владимира Старицкого бояре Федор Образцов и Степан Борисов. Даже находясь в темнице, они проклинали Ивана Васильевича такими бранными словами, что если бы все проклятия достигли цели, то самодержец почил бы уже трижды.

Собака не любит своего хозяина так, как бояре обожали господ Старицких. Григорий Лукьянович приказывал Образцова и Борисова жечь огнем, велел поднимать на дыбу к самому потолку, и сверху, словно пророчество, доносились до него слова опальных бояр:

– Верой и правдой служили князьям Старицким и от господ своих не отступимся. А ты, Григорий, сдохнешь, как пес приبلудный. Откажется от тебя твой хозяин, вот попомнишь наши слова!

Сплеывали бояре ругательства, словно кровавую пену.

Малюта собственноручно лупцевал клятвоотступников, бил их до испарины, до усталости в руках, но бояре каяться не желали и твердо стояли на своем:

– Всегда мы князьям Старицким служили, ежели живы останемся, так и далее служить станем! Зачинщиков спрашиваешь? Так мы и есть те самые зачинщики, а более ты от нас ничего не услышишь.

Наконец сдался даже Григорий Лукьянович:

– Хватит, довольно с них. Об этих дурней только кнутовище ломать. Большого с них не добьешься. Так и скажу государю, пусть сам их судьбу определяет.

Часто судьбу опальных вельмож, следуя последнему разговору с самодержцем, Малюта Скуратов решал сам. Государь наставлял холопа:

– Все в твоей власти, Гришенька, да и судьба отечества нашего. А потому карай по своему усмотрению. Но наказывать господ надобно с умом, чтобы каждый поверил, что по заслугам вороги получают.

Днем позже Григорий Лукьянович составил длинный список крамольников, где первыми указал Образцова Федора и Степана Борисова.

Дальше и вовсе было просто – остальные чином не вышли, и по наказу Малюты Скуратова-Бельского их хватили всюду: в домах и на дачах, в гостях и во дворах. Опришная дружина закалывала отступников на улице, а на груди непременно крепили дощечку с хлесткой надписью: «Мятежник». Прохожие, крестьяне, обходили трупы стороной; даже караульщики, совершавшие обычный ежедневный вечерний обход, натолкнувшись на окоченевший труп, не рисковали оттащить его подальше от многолюдных мест и уходили, приговаривая:

– Пойдем подальше. Завтра поутру мусорщики пойдут, вот они и сгребут, бедного, в Убогую яму.

* * *

Время отобрало у Марии подростковую угловатость, но сумело наделить необычайной женственностью. Плечи у Марии пополнели и напоминали сдобные булочки, какие каждый день подают стольники на царский стол. Царица притягивала к себе взгляды точно так же, как манит в жару усталого путника прохладный колодезь. И многие бояре хотели бы утолить жажду в этом щедром источнике.

Государыня была уже не прежняя девица с выпирающими костистыми коленями, какой Иван Васильевич впервые увидел ее восемь лет назад. Подросток переродился в яркую женщину, сильную и страстную. Дьяволицей и злыдней видится она простому люду, а народная молва злословит о том, что даже пяток мужиков не сумеют за ночь насытить ее животной натуры.

Иван Васильевич поднялся в терем, государыня должна была ожидать мужа в своей комнате.

– Здравствуй, Мария, что же ты мужа своего большим поклоном не привечаешь? – укорил государыню Иван. – Или я тебе более не господин?

– Здравствуй, государь, – согнулась царица.

Иван обратил внимание на то, что и в поясе царица раздобрела. Добрый государев корм пошел царице впрок, придавая ее фигуре завидную дородность. А какому мужику не хочется, чтобы баба его была мясистой и ласковой, а еще чтобы до утех оставалась жадной.

Тоска придушила государя, догадался он: не видит Мария Темрюковна в нем своего господина, а только и дожидается того дня, когда доведется молодым псарям накинуть на шею самодержцу веревку да, скрипя зубами, стянуть за оба конца.

А уж после того Челяднин-Федоров осмелится отвести молодую вдову под полные рученьки к венцу.

– Как спалось, государыня? – ласково спрашивал Иван Васильевич. – Сказали мне, будто бы ты бессонницей маялась, а неделю назад знахарки хворь из тебя выводили.

– Правду тебе сказали, Иван Васильевич. Напала на меня внезапная болезнь, да, слава богу, отошла быстро, – скромно отвечала царица, спрятав черные глаза под кусты длинных ресниц.

Болезнь у Марии была иного рода, и Иван Васильевич знал об этом: обрюхатил царицу конюший, и, спасаясь от позора, повелела Мария верным повитухам вывести плод, а потом вынесли бабы тайно слизистый комок, завернутый в холщовые тряпицы, из дворца да закопали на безлюдном пустыре под Кремлевской стеной.

Надо же такому случиться – восемь лет прожил Иван с Марией, а дите так и не сумели народить, а тут конюший едва государыню приласкал...

Позавидовал царь Иван своему холопу.

От такой бабы, как Мария, иметь дите одна радость. Ежели появилось бы на свет чадо, может быть, сложилось бы все иначе: пеклась бы царица о ребеночке и глаза на молодцов пялить не стала бы.

– С выздоровлением тебя, Мария.

Иван Васильевич знал о том, что царица любила Федорова. Мария Темрюковна была привязана к нему той дикой страстью, какой волчонок привыкает к охотнику, сумевшему обуздать его дикую кровь. Зверь благодарно принимает молоко из добрых ладоней, однако попробуй отнять у него кость, и сильные челюсти мгновенно сомкнутся на протянутой руке. Смесь преданности и злобы – напиток всегда ядовитый, и нужно быть таким богатырем, как Челяднин-Федоров, чтобы до капли испить полную чашу смешанного зелья и не пасть замертво.

Характер Ивана Васильевича был иного склада, хотя он не однажды признавался себе, что ему не хватает кипящей натуры черкешенки, он скучал по ее жадным рукам, когда в порыве страсти она могла исцарапать спину. И все-таки желательно, чтобы царапины побыстрее зарастали. Царь жаждал не огня, а теплоты. Русские бабы таковы. Мясистые. Ядреные. А если поворачиваются на перине, так только для того, чтобы под миленького подстроиться. Иван Васильевич нуждался в таких женщинах, которые смогли бы остудить его распаренное жизнью тело, подобно вольному воздуху.

– Спасибо, Иван Васильевич, на добром слове, – отозвалась царица.

Иван Васильевич уже давно не ласкал государыню и сейчас вдруг почувствовал непреодолимое желание – ему хотелось крепко обхватить Марию. Иван помнил, что ниже пупка у царицы была маленькая складочка, ему хотелось ущипнуть ее пальцами, да так, чтобы она взвизгнула, после чего поцелуй покажется особенно горячим.

Иван Васильевич сумел справиться с чувством: перевел глаза на скорбящую Божью Матерь, и желание умерло.

– Посоветоваться я к тебе пришел, царица.

– Вот как? – удивилась Мария. – Слушаю тебя, государь.

Редко Иван Васильевич бывал мякотел. Он всегда жил подобно медведю, который пробирается через бурелом, а в советах жены не нуждался вовсе.

– Смута родилась против меня. Ведаешь ли ты об этом, царица?

Как не знать о том государыне, когда на той неделе она отсылала своих поручителей во все стороны от Москвы с просьбой поддержать ее в войне супротив мужа. Мария обещала обмелывавшим князьям место в Боярской думе, деревни под стольным градом. Но самый главный подарок должен был перепасть боярину Челяднину-Федорову – царские держава и скипетр. Государыня крепко заблуждалась, думая о том, что в Александровской слободе Иван Васильевич ближе к богу, чем к мирским делам; царь ведал о каждом вздохе Марии и знал о том, что две дюжины посыльных уже успели вернуться в Москву с согласием мятежных князей.

Пятеро из этих двух дюжин были верными холопами Ивана Васильевича.

Иван Петрович Челяднин-Федоров сошелся с царицей неслучайно. Любил боярин таковых, как Мария: острых, перченых. Даже в блюдо себе конюший накладывал такое количество горчицы, какого хватило бы на дюжину молодцов.

А Мария Темрюковна в приправе не нуждалась.

– Что ты посоветуешь мне сделать с изменниками, царица?

– Казнить, – с улыбкой отвечала Мария Темрюковна, не понимая того, что тем самым уже решила судьбу конюшего Ивана Федорова.

* * *

Следуя желанию государя, Иван Петрович Челяднин торопился в Александровскую слободу. Он и ранее навещал здесь государя, ожидая приема, спал на жесткой лавке, подолгу томился в холодных кельях и всякий раз жалел о том, что невозможно привести в монастырь красную девицу. Сейчас состояние конюшего было особым – он увозил с собой из Москвы дурное предчувствие.

Иван Петрович уже растерял прежнюю власть, и жалкие ее крохи остались только в фигуре конюшего, который ходил по дворцу по-прежнему с прямой спиной и горделиво откланивался князьям. Дворовая челядь как будто чувствовала грядущие перемены и не так ретиво, как ранее, стаскивала шапки.

Государевы кромешники стали навещать в ближние дачи конюшего, а на одной из них лишили живота приказчика и усекли до смерти конюха. Трижды Иван Петрович обращался к царю, пытался дознаться до правды, и всякий раз опришники выставляли земского боярина за порог. А потом, словно в ответ на настойчивую мольбу, в обширные земли Бежицкого Верха, испокон веков принадлежавшие роду Челядниных, со множеством опришников появился сам царь. Кромешники пожгли амбары с пшеницей, посекали мечами дворовых людей, а красных девок брали силком и позорили всем миром.

Челяднин не смолчал: отписал государю челобитную, хулил его за бесчинство, бичевал дерзкими и злыми словами. Но этот поступок больше напоминал крик в бездонный колодезь, где умирает даже эхо.

И вот сейчас царь Иван пожелал увидеть отверженного боярина.

Вратник как будто только и дожидался, когда холеная пара лошадей, хрипя и нетерпеливо буравя копытами землю, остановится перед дубовыми створами, чтобы в тот же миг широко распахнуть ворота. Кони словно догадывались, куда вошли, а потому, умерив природную резвость, едва подвигались, остерегаясь царского гнева.

Иван пожелал видеть Челяднина немедленно.

Конюший явился в Стольную палату в сопровождении двух опришников, которые своей суровостью больше напоминали приставленную стражу.

Государь восседал на царском месте. Боярин отметил, что Иван уже не тот отрок, каким он знал его пятнадцать лет назад, у него тогда еще едва курчавилась борода. За это время

царь успел расширить русское государство многими землями и даже к австрийскому императору обращался не иначе как: «Божией милостью, мы, великий государь царь...» Это был мужчина, не знавший счета женщинам, и государь, укрепивший трон двумя наследниками. Иван много страдал и без конца заставлял мучиться других. Иван Васильевич знал любовь и не однажды испытывал горькое разочарование. В тридцать восемь прожитых лет он сумел вместить столько разных событий, сколько не способен иной человек, перешагнувший рубеж мудрой старости.

– А ты сдал малость, Иван Петрович, – искренне огорчился государь, взирая на конюшего.

– Прав ты, государь... – озираясь Челяднин по сторонам.

В избе собралась почти вся опришная Дума, а князь Афанасий Вяземский красовался перед отроками цветастым кафтаном, прошитым золотом, и больше напоминал мерина, гарцующего перед кобылами. Челяднин подумал о том, что хорошего от этой встречи ждать было нельзя. Даже смотрел его старый недруг с нескрываемым торжеством, как будто присутствовал на судилище.

А государь справлялся далее:

– Что же ты к нам в слободу не показываешься, боярин? Уж не загордился ли ты часом? А может быть, государя своего видеть не желаешь?

– Если правду скажу, Иван Васильевич, не поверишь.

– Отчего же не поверю? Говори.

– Не однажды я на твой двор являлся, да твои сподручные, как попрошайку последнего, меня с крыльца спроваживали. Скажи, государь, чем же я мог прогневать тебя? За что на меня такая немилость обрушилась?

– Немилость, говоришь, Иван Петрович? Да разве ты можешь знать, что такое государева опала! Опальных холопов Григорий Лукьянович под замком держит и прячет от людских глаз в глубоком подвале. Ты же рядом со мной стоишь, речи разумные ведешь. Так о какой же немилости ты толкуешь, конюший? Лукавишь ты, Иван Петрович.

– До лукавства ли мне, Иван Васильевич, если я обиды терплю несправедливые. Не далее как вчера мои земли разорили опришники. Челядь дворовую мечами посекали. Хоромины дотла спалили.

– Ведаешь ли, о чем говоришь, боярин? Меня, государя своего, в лихости упрекаешь, – напустился Иван Васильевич. – Видно, разбойнички в твое имение заявили.

– Может, это и разбойники были, а только среди них опришников признали, Иван Васильевич.

– И кто же там был, конюший?

– Князь Афанасий Вяземский да Федька Басманов. Все пограбили, а девок ссильничали!

– Что же это ты, боярин?.. Моих людей с разбойниками ровнять!

– Помилуй меня, Иван Васильевич, не желал я тебя обидеть, не о том я речь веду.

– Чего же ты хочешь?

– Справедливости ишу. Накажи отступников!

– Так, значит, не веришь ты своему царю, – усмехнулся Иван Васильевич. – А может, я правлю русской землей несправедливо? Может быть, тебе, боярин, стоит попробовать?

– Господь с тобой, государь! – перепугался Челяднин-Федоров.

– А почему бы нет? – неожиданно воодушевился Иван Васильевич. – Видала Русь царей из Рюриковичей, так почему бы ей не посмотреть на господарей московских из рода Челяднинных? А что, господа, может, вам при новом царе получше заживется? Я ведь крут бываю. Коли понравится Челяднин, так я противиться не стану, по доброй воле уйду. Эй, рынды, несите в Стольную царский наряд, да про венец венчальный не позабудьте!

Скоро рынды вернулись с одеждой в руках, один из них держал на золотом подносе посох и венец.

– Вот оно, твое облачение... государь всея Руси Иван Петрович. Одевайся!

– Государь-батюшка, да как же можно... – стушевался боярин.

– Ничего, конюший, пообвыкнешь. Это поначалу страшно царственный посох держать, а потом без него и прожить не сможешь. Одевай царственные наряды, боярин, мне не жалко. Эй, челядь, помогите Ивану Петровичу в царственный наряд облачиться.

Бояре натянули на конюшего парчовое платье, подвязали пояс.

– К лицу тебе царское одеяние, Иван Петрович, – спокойно заметил царь. – Ты в нем государем выглядишь куда более убедительно, чем я. Но без венца и без посоха какой же ты царь будешь? Подать мне посох и венец, я сам их новому государю вручу.

Ивану Челяднину не хватило смелости отстранить государевы руки, и самодержец неторопливо положил на его макушку венец.

– Зря ты все это затеял, государь, – несмело пытался возражать Иван Петрович. – Не по рылу честь будет.

– Без посоха ты и не государь, – продолжал размышлять Иван Васильевич. – На вот... бери! Что же ты оробел? Негоже холопу от царского подарка отказываться.

Иван Петрович взял и посох.

– А теперь давайте поклонимся новому господину всея Руси, – первый склонил Иван Васильевич голову. – Будь же здоровым, великий государь, кланяется тебе бывший царь и государь, князь московский Иванец Васильевич, а ныне холоп твой. Повелевай мной, как разум тебя твой надоумит. Иди... не робей... садись же за трон! А вы чего, бояре, застыли? Помогите взойти новому государю. Посадите Ивана Петровича так, чтобы ему удобно было. Не жестковато ли мое место для твоего седалища, государь Иван Петрович?... Даже взор у тебя стал царственный. Сбылось твое желание. Ты этого хотел?!

– Помилуй, господи, да разве я бы посмел? – перепугался царского гнева Челяднин.

– Я посадил тебя на царский трон, в моей власти тебя с него и убрать!

Распрямился Иван и что есть силы воткнул кинжал в живот конюшего. Челяднин скатился с трона и затих у ног государя.

Глава 5

О том, что это была борьба не на жизнь, а на смерть, митрополит Филипп понял на следующий день, когда повязали пятерых его бояр и гнали их нещадно палицами через весь город.

С тяжелыми колодками на ногах, они вызывали у горожан только сочувствие и жалость. А наиболее проницательные могли предположить, что следующим должен стать сам владыка.

Бояре, не выдержав побоев, скончались, а непримиримый митрополит следующую проповедь начал с анафемы, которую обрушил на головы зачинщиков. С тех пор не проходило дня, чтобы святейший не хулил в долгих проповедях монахов-опришников, а с ними заодно и самого государя. Юродивые и монахи – послушное орудие митрополита – кричали в спину опришникам и самому царю поганые слова, называли его худыми словесами и сулили небесную кару.

В ответ Иван Васильевич присылал к Колычеву бояр и требовал, чтобы Филипп оставил митрополию. Однако гордый старик посыльных прогонял и всякий раз велел передавать государю слова:

– Богу так было угодно, чтобы я на митрополию взошел. Если суждено уйти... то не по воле государя. Так и передайте ему. Иерархи меня на митрополии утверждали, только им под силу меня и убрать.

– Вот он как заговорил? Что же это тогда с отечеством моим будет, если каждый чернец с царем в величии начнет тягаться? – отвечал на строптивые слова владыки Иван Васильевич.

Устав от царских посыльных, Федор Колычев решил поселиться в Чудовом монастыре, а если заблагорассудится царским вестовым досадить митрополиту, так пускай сначала преодолеют трехсаженную стену.

Федор Степанович Колычев был исполин.

Это не прежний безвольный митрополит, на которого достаточно было повесить царю голос, чтобы заставить его умолкнуть. Владыка Филипп напоминал скалу, о которую разбиваются даже самые суровые ветры. Признал Иван, что не повалить главу русской церкви в одиночестве, даже если ты царь. И вскоре Иван Васильевич стал включать в опришнину видных иерархов, щедростью подношений разбивая к себе былую неприязнь.

– Вы мне только митрополита осудите, – настаивал царь, – а я уж за вас постою! Преумножу ваши монастыри землицей, крестьян в крепость дам, а из Греции святых икон повелю прикупить.

Владыки согласно кивали на слова государя, но никто не осмеливался поднять глас против праведного Филиппа. Однако когда из Великого Новгорода прибыл архиепископ Пимен, один из горячих сторонников государя, уверенность иерархов пошатнулась.

Архиепископ Пимен был не менее ярок, чем Филипп. Он обладал даром убеждения, и, слушая его речь, каждому верилось, что он воплощение непогрешимости, и непросто было выступать супротив святости.

Архиепископ набатом гудел на соборе, всматриваясь в строгие лица иерархов и пустынников:

– Гордыня митрополита Филиппа обуяла! Возмнил он себя едва ли не первейшим на земле. Государя, наместника божьего, анафеме предал и паскудными словесами сан его порочит. А братию так и вовсе замечать не желает, повелевает ему кланяться, как патриарху Иерусалимскому. Разуйте очи, братия, посмотрите, что за благочестивым образом Филиппа прячется! Чернецов, данников божьих, за холопов своих держит. А еще чернецы рассказывают о

нем разное богохульное... будто бы он в проповедях своих язычество добрым словом поминал. За один только такой грех он в полуме должен сгинуть. Вот что я вам скажу, владыки, на Соловки всем собором нужно ехать и розыск учинить крепкий, чтобы понять, что за человек такой наш митрополит Филипп.

Пимен встречался с государем накануне. Принимал Иван архиеерея ласково: поцеловал его крепкую жесткую ладонь и посадил подле себя.

– Вот что я тебе скажу, владыка, – заговорил царь, – напакостил мне митрополит, чернецов супротив меня подговаривает, монахи меня богохульником зовут, юродивые сатаной клечат, а скоро подданные начнут в спину плевать. Ты, Пимен, помочь мне должен.

– Чем же, государь?

– Оporочить надобно Филиппа. Учини следствие о поганом житии митрополита, а я тебя не забуду, если скинешь злыдня, так я тебя на его место возведу.

– Сделаю все, что в моих силах, государь, – твердо пообещал архиеерей.

И сейчас Пимен строго посматривал в лица владык, вспоминая разговор с государем. Рядом с ним сидел суздальский епископ. Трудно было отыскать человека во всем царстве, кто не любил бы Филиппа больше, чем он: не однажды они встречались на соборах и, словно два драчливых воробья, насакивали друг на друга, упрекая в ереси. Однако одно дело, когда это говорится в гневе, ради красного словца, и совсем иное, когда приговор выводит церковный собор. И даже суздальский владыка не мог упрекнуть Филиппа в нелюбви к богу, не каждый способен поменять боярский опашень на грубую рясу чернеца.

Напротив, презрев удобный стул, сиживал на узенькой лавчонке архиепископ ростовский Кондрат. Пимен мог рассчитывать и на его поддержку: когда-то оба святейших начинали послушниками в Симоновом монастыре и великим смирением, а также ревностным служением богу сумели превзойти многих схимников.

Сам Пимен знал Филиппа давно и пристально следил за его духовными подвигами. Владыка Соловецкий был сильным соперником, возможно, поэтому их противостояние растянулось на многие годы. Уже казалось, что Филипп вышел победителем из этой борьбы, достигнув такой высоты, глядя на которую задира голову сам царь, но судьба блаженнейшего решалась не на небесах, видать, споткнулся он об ногу дьявола.

Вот и наступил черед образумить спесивого чернеца.

Владыки продолжали молчать. Одно дело жалиться братии, другое – отвечать на соборе. Потому и помалкивали владыки, не спешили поддержать Пимена. Каждый знал, если кто и был достоин носить митрополичий клобук, так это Филипп, и разговоры об ином святейшем русской земли воспринимались всеми почти как лукавство.

– Чего же вы молчите, святейшие? Неужто мы не в силах справиться с гордыней митрополита? Видно, так и будет он считать, будто бы рожден для того, чтобы царем помыкать?! Если сейчас Филиппа не усовестить, так завтра он сумеет заставить нас, чтобы мы встречали его как сына божьего.

Помолчали владыки, потом повздыхали дружно и согласились с Пименом.

* * *

Сыск по делу митрополита Филиппа отбыл на Соловки недель позже. Кроме духовных лиц царь снарядил и верных опришников, старшим среди которых был Григорий Скуратов-Бельский.

Отправляя любимца к Студеному морю, Иван Васильевич поучал:

– Малюта, сделай так, чтобы обесчестить Филиппа. Застрял этот пакостник у меня в горле, как кость, – и не вытащить, и в желудок не пропихнуть. Ежели потребуется, не жалея на благое дело злата и серебра.

– Монахи на деньги не слишком падки, – неуверенно возражал Григорий Лукьянович. – Некуда им их девать.

– На брюхо потратят, – спокойно отвечал Иван Васильевич. – Среди монахов не все схимники, есть и такие, которые чревоугодничать любят. Вот ты для них ничего не жалея, только свидетельства супротив бывшего игумена добудь. Сорву я с него митрополичий клобук! – сжал кулаки Иван Васильевич.

– Сделаю как велишь, государь, – поклонился думный дворянин.

Через месяц с небольшим сыск в количестве трех десятков знатнейших мужей прибыл на Соловки. Не видал Малюта никогда ранее такого великолепия. Приходилось ему не однажды бывать на северных рубежах, наведывался он как-то и в Соловецкий монастырь. Небогата тогда была божья обитель – стены деревянные, кельи убогие, а ко всему худому, погода на островах оказалась такая стылая, что продувало до дрожи. Вокруг студеная вода, камней на берегу во множестве, так что даже к воде не подойти.

За несколько лет монастырь преобразился. Он напомнил Малюте сказку о том, как погрузился дурачина в котел с парящим молоком, а вынырнул добрым молодцем. Деревянные стены были снесены, вместо них воздвигнуты каменные, да такой невиданной крепости, что ядра в десять пудов отскакивали от них, словно полые орешки. Красив был монастырь и страшен своей мощью. Он был так же суров, как прежний игумен, напоминая Филиппа даже внешне, – камни были такими же древними и седыми, как его былинная борода, а башни, словно голова игумена, созерцали вокруг грозное море горделиво и внимательно.

Только такой человек, каким был владыка Филипп, и мог создать это диво, только его энергия и способна была поднять из морской пены каменную твердыню. Митрополит словно выстроил монастырь для себя, как будто бы предвидел царский гнев, а потому хотел, чтобы детище укрыло его от государевой немилости за многометровыми стенами.

Однако не спасло.

Малюта Скуратов явился в Соловецкий монастырь предтечей большой беды, первой стрелой, пущенной перед кровавой сечей.

Опришники строго допрашивали монахов, выискивали крамолу и старались опорочить Филиппа, но упрямые чернецы не произносили даже слова, как будто вместе с обетом безбрачия взвалили на себя еще и обет молчания. Ученик Филиппа и новый игумен Соловецкого монастыря Паисий только ухмылялся усердию опришников, понимая, что монахи будут с царскими слугами так же немые, как и камни, из которых был выстроен монастырь. Даже допросы с пристрастием не способны вырвать и глухого звука из их онемевших уст.

Единственное средство добиться расположения игумена – это подкупить его. Малюта знал, что Паисий необычайно честолобив и отличается такой же страстной ревностью к службе, какой прославили себя первые христиане. Совсем неслучайным было и то, что именно он принял игуменство из рук Филиппа; Паисий считался не только духовным наследником митрополита, но и ярчайшим продолжателем славных традиций и сподвижничества на Дальнем Севере России. Нынешний игумен сумел расширить монастырские земли, на которых трудились десятки тысяч крестьян. Монастырь имел соляные заводи, суконные фабрики, товар отправлялся поморами в далекую Англию.

Влияние Соловецкого монастыря на Крайнем Севере выросло настолько, что Соловки могли соперничать с Господином Великим Новгородом, а новый игумен до того вошел в силу, что сумел оторвать от соседней митрополии огромный кусок земель, который немедленно присовокупил к Соловецкому монастырю.

Богаты были Соловки и вызывали зависть не только у менее удачливых владык, но даже у удельных князей.

Склонить Паисия к неправде можно было только епископским саном, и, оставшись с владыкой наедине, Скуратов-Бельский решил завести разговор с самого главного:

– Слушай, что велел тебе государь передать... Если пожелаешь быть главным обвинителем супротив Филиппа, тогда можешь примерять на себе облачение епископа. А далее государь тебя еще больше пожалует – при Москве служить станешь. Что скажешь на это, отец Паисий?

– А если откажусь?

– Выбирать тебе не приходится, владыка, если откажешь, церковным собором будешь осужден.

– В чем же я повинен?

– Митрополию новгородскую в свои земли включил.

– Что я должен сделать?

– Подбери для начала монахов, которые согласны свидетельствовать супротив бывшего игумена, а что далее будет... дело покажет.

– Хорошо, – после короткого раздумья согласился игумен.

Игумену Паисию понадобилось много времени, чтобы выявить монахов, которые некогда были обижены митрополитом Филиппом. Трое из них обещали свидетельствовать о том, что бывший игумен после службы скармливал просфору собакам, а в святой воде купал кота, которого во зло самодержцу прозвал Иваном.

Двое монахов готовы были целовать крест в том, что будто бы митрополит ссылался на Старый завет и почитал его больше Нового.

Еще один старец доносил, что игумен склонял его к содомскому греху, а пятеро чернецов в один голос утверждали, что в соседнем селении у Филиппа поживает зазноба, к которой он наведывался каждую неделю, а за год игуменства владыка сумел прижить пятерых чад в трех деревнях.

Малюта Скуратов слушал «признания» монахов и наказывал дьяку:

– Ты, смотри, не пропусти и слова! Государев сыск дело нешуточное, потом о митрополите суд свое слово скажет.

Каждый из присутствующих чернецов понимал, что за каждый пункт обвинения крошечники должны будут запереть игумена Филиппа в осиновый сруб, подпереть дверцу поленом и поджечь святым огнем.

Древний и седой, как замерзшая вода Студеного моря, епископ Пафнутий, глава церковного сыска, отказался подписать обвинение. Он знал отца Филиппа совсем другим. Более смиренного монаха не встречал он за всю свою жизнь, а если и бывали у игумена слабости, то не разглядеть их людям грешным и простым. Филипп никогда бы не опустился до содомского греха, а уж скармливать просфору собакам, так это и вовсе грех неслыханный, до такого даже язычник не сподобится.

Григорий Лукьянович грозил несговорчивому монаху ссылкой, пугал вечным заточением, пытался его уговорить, но Пафнутий оставался таким же твердым, как лед в морозную пору, и брань Малюты разбивалась о крепость его убеждений.

Владыка Пафнутий готов был принять на свою голову всю тяжесть царской опалы, но не отступиться от правды. И это знал Малюта, знал.

Пафнутий ехал в Москву с надеждой убедить государя в своей правоте.

* * *

Иван Васильевич слушал Малюту и все более хмурился. Царь знал Пафнутия давно и другого от него не ожидал. Именно такими старцами, как епископ Пафнутий, и крепла церковь. Поступи владыка по-другому, Иван Васильевич разочаровался бы в старце, тот служил церкви так же беззаветно, как и ближним. Просто так строптивцев не победить, и государь знал, что нужно делать. Первое, что он предпринял, – это разорил земскую Думу, тем самым лишил несговорчивых старцев опоры, а плаху до особого распоряжения плотникам разбивать не велел. Глядя на кровавые доски, иерархи должны будут поразмыслить о неожиданных превратностях судьбы и наверняка задумаются о вечном покое.

– Не знаю, государь, что и делать, – говорил в растерянности Малюта, – не запугать тебе Пафнутия. Во дворец он едет.

– Чего хочет старик?

– С тобой хочет встретиться, чтобы прощение для Филиппа вымолить.

– Пафнутия со двора гнать в шею, – распорядился Иван Васильевич, – а для митрополита Филиппа я подарочек приготовил. Не бывает железных людей, Гришенька, даже о самых твердых из них не сломаешь топора.

* * *

– Не верю я в эту ложь, брат, – говорил Пафнутий. – Опорочить тебя хотят, а потому приговор лживый составлен. Написали о том, что ты баб портил, с мужиками баловался, а еще над Христовой верой надсмехался.

Филипп горько усмехнулся:

– Да за такое обвинение не только сан отобрать нужно, живота лишить мало! Спасибо тебе, Пафнутий, что хоть ты от меня не отступился, многих я уже лишился. Как ты думаешь, неужно кто поверит в эту глупость? – искренне удивлялся Колычев.

– Святейший Филипп, государевым холопам совершенно неважно, поверит кто в это или нет. Злодеям важно приговор вынести, чтобы с митрополии тебя столкнуть. А еще перед паствой хотелось бы опорочить.

– Понимаю.

– А может, тебе, Филипп, самому уйти, пока эти злыдни до чего худого не додумались?

– Не могу я просто так уйти. Перед паствой своей я в ответе, а государев суд меня не страшит.

– Неужели не боишься, Федор Степанович? Брата твоего, Ивана Петровича, живота лишили, а ведь боярин такую огромную силу имел, что мог потягаться и с суздальскими князьями.

– Как же не бояться смерти, блаженнейший? Боюсь! – честно признался митрополит Филипп. – Только ничего поделать с собой не могу. Видно, так на роду у меня написано – заступаться за обиженную паству. Не держатся подле государя митрополиты, только год и пробыл Афанасий на московской митрополии... не утерпел, уединился в монастыре. Чувствую, что мой черед настал. Тяжек мне московский дух, на простор душа просится, к Студеному морю... Если бы не забота о пастве, так бы и поступил.

Пафнутию подумалось о том, что святейший Филипп и впрямь напоминает сильного красивого зверя, для которого роскошные митрополичьи палаты всего лишь клетка. Вот оттого и мечется он из одного конца митрополии в другой, тщетно пытаясь отыскать покой. А ему бы в узенькую монашескую келью, с махоньким оконцем, выходящим на монастыр-

ский двор, чтобы стены оставались в метр толщиной, вериги тяжелые на шею, а под рясу жесткую власяницу, только тогда примирился бы Колычев, отыскав себя прежнего.

Митрополит Филипп был привлекателен особой северной суровостью, сродни той, что окружала его некогда на Соловецком острове. Борода у владыки была словно снег, и седая голова напоминала ледник с синевой в самой глубине, а черной рясой и исполинскими размерами он больше походил на утес, о который способен разбиться полярный ураган.

Филипп остался аскетом даже в митрополичьих палатах. Роскошь он называл соблазном дьявола и потому всю дорогую и удобную мебель, оставшуюся от прежнего хозяина палат, повелел свезти в царский дворец. Табурет и лавки – вот и все, в чем нуждался митрополит Филипп.

– Поберегся бы ты государя, не перечил бы ему, – захлестнула жалость Пафнутия. Он уже видел, как над владыкой, словно меч, нависла опала государя. Это была судьба, рок, который тенью отпечатался на красивом лице Колычева. – И бояр они погубили, потому что хотели на тебя управу найти. Знал Иван, на кого ты опираешься, вот потому и выбил у тебя из-под ног эту опору.

Филипп не успел ответить – в комнату постучали. Это был один из послушников, который помогал митрополиту облачаться перед службой.

В руках отрок сжимал мешок.

– Прибыл скороход от государя Ивана Васильевича. Велел передать вот этот мешок и сказал, что в нем для митрополита подарок.

– Развяжи мешок. Что в нем?

Послушник распустил горловину. На каменный пол скатилась голова Челяднина-Федорова.

Обмерло лицо митрополита.

– Вот, стало быть, какой подарок мне государь Иван Васильевич приготовил, – бережно поднял с пола голову брата митрополит Филипп. – Вот что, Кирилл, созови иноков, похороним боярина Ивана Петровича Челяднина, как подобает по православному обычаю... Я сам отходную отслужу. А потом поезжай к государю Ивану Васильевичу... и передай ему низкий поклон от меня и всей нашей братии. Скажи ему, что подарок его я получил.

– Это еще не все, блаженнейший, – не смел безродный отрок поднять глаза на святость.

– Что еще?

– На словах скороход велел передать, что завтра на собор тебя призовут. Судить будут... А еще сказал, – слова давались отроку с трудом, но он решился договорить до конца, – если не явишься, приволокут тебя на аркане, как вора.

* * *

Соборный суд собрал почти всех владык и архиереев Руси.

Собор был необычен тем, что обвиняемым на нем должен был предстать московский митрополит Филипп. Бывало, что в митрополичьих палатах приговаривали вероотступников, но не случалось прежде такого, чтобы судили владыку.

Филипп вошел в соборные покои не покаянным грешником, а хозяином, будто бы он собрался судить архиереев. Опустили головы владыки, не смея встретиться с его взглядом, и только Паисий – ученик и Иуда – сполна испытал на себе гнев темных глаз Федора Колычева.

Митрополичьи палаты.

Не будет здесь более услышана проповедь владыки – разобьется его мудрая речь о беспристрастных лицах архиереев, и место теперь его не на митрополичьем столе, а на маленькой скамье, где обычно сидят еретики.

Постоял в раздумье подле скамьи Федор Колычев, а потом присел. Если святые обмывали язвы прокаженным, то почему простому печальнику не умерить свою гордыню.

– Готов ли ты к суду... отец Филипп? – строго спросил Паисий.

– Отец Филипп... Или я уже не митрополит? – обвел взглядом архиереев Федор Колычев.

– Митрополит Филипп, знаешь ли ты, зачем вызван святейшим собором? – строго спросил Паисий.

Паисий сидел на митрополичьем месте и чувствовал себя в кресле куда более удобно, чем на жесткой лавке в келье Соловецкого монастыря.

Молчал митрополит. Искушила горечь горло, словно зелья терпкого испил. И камни способны коробиться и скорбеть, а он всего лишь человек.

Не дождался Паисий ответа и продолжал спокойным ровным голосом, как будто не в диковинку ему судить иерархов русской церкви:

– Отец Филипп, ты обвиняешься в том, что в речах своих хулил православную церковь, говорил, что вера латинян превыше греческой. Есть свидетели святотатства, что ты глумился над частицами Христова тела. – Паисий посмотрел на государя, который сидел отдельно от иерархов, возвышаясь над ними вполовину дубового трона. – А еще, отец Филипп, ты обвиняешься в корыстолюбии и в растрате церковных денег.

Митрополичьи палаты были теплы, и Паисий подумал о том, что они никак не могут сравниться с кельями Соловецкого монастыря, которые дышали каменным холодом и больше напоминали заброшенный склеп.

– Не тебе это говорить, отец Паисий, мужу, который соблазнился поменять схимное благо на епископский сан. Вот ты говоришь, что в речах своих я хулил церковь... Но ответь мне тогда по правде, можно ли отыскать большего ревнителя православной веры, чем твой наставник? Я хочу спросить у тебя, отец Паисий, ведомо ли тебе, сколько я воздвигнул храмов? Молчишь... Две дюжины соборов по всей Руси! Упрекаешь меня, что я казну церковную разорял, а только с моим игуменством в Соловецком монастыре появился прибыток. Мне ли грабить казну, когда род Колычевых – едва ли не самый богатый в Московии! И вот что я еще хочу добавить, владыки, состояние мое великое завещаю я Соловецкому монастырю. Государь, ты хотел, чтобы я оставил митрополию... Так вот, возьми же клубук! А для подлинного служения господу митрополичий сан ни к чему. А теперь позвольте мне идти, служба дожидается.

Митрополит Филипп поднялся и, не слыша грозного государева окрика, покинул палаты.

Успенский собор в этот день был переполнен. Прихожане прознали о том, что эта служба для отца Филиппа будет последней, а потому задолго до заутрени была занята каждая пядь храма.

Горожане хотели проститься с владыкой.

Филипп появился за минуту до службы. Лицо его выглядело спокойным, весь его облик, казалось, источал умиротворение и тишь, будто не коснулся его царский гнев, а движения рук, как прежде, были уверенными и величественными.

Отстранив пономаря, Филипп сам пожелал зажечь у икон свечи, покадил благовонным ладаном, а потом обернулся к застывшей пастве.

– Проститься я к вам пришел, дети мои. Две силы господствуют на грешной земле – одна добра, другая зла. Одна божья милость, другая – происки дьявола. Вот и ухожу я, братья и сестры, с митрополичьего стола только потому, что не хочу служить дьяволу, ибо отдана ему земля русская на откуп.

Широко распахнулись двери храма, и митрополит увидел, как дюжина опришников, уверенно раздвигая локтями мирян, протискивалась по проходу.

– Православные! – гаркнул на весь собор Федька Басманов. – Колычеву ли судить о кознях дьявола, когда он сам едва ли не брат черту. Вот послушайте, господа, приговор соборного суда, – сотрясал Басманов над головой грамотой. – Здесь все прегрешения Колычева отписаны! «За хулу на святую православную церковь, за прелюбодеяние, за то, что знается Федька Колычев с нечистой силой, соборный суд приговаривает лишить его церковного сана, предать анафеме и сжечь как еретика!» – Басманов наслаждался установившейся тишиной. Кто-то у самого алтаря трижды выкрикнул: «Свят!» Басманов продолжил: – А теперь, господа, по приговору соборного суда сорвите с него мантию!

Опришники, словно свора псов, услышавших команду: «Ату!», подхватили митрополита под руки и, показывая молодецкую удаль, стали стягивать с него облачение. Мантия затрещала, словно выпрашивала пощады, а на пол уже полетели амофор и клобук, которые были тотчас затоптаны множеством ног. Митрополиту заломили руки и поволокли к дверям; старик отчаянно сопротивлялся, и только когда веревками опутали его ноги, он сдался:

– Что я вам говорил, братья! Разве я был не прав?! – причитал старец. – Дьявол государем правит!

– Закройте его поганный рот! – прикрикнул Федька Басманов.

Опришники с готовностью выполнили приказ Федора, подняли с пола растоптанный клобук и запихнули его в горло митрополиту, а потом, поднатужившись, поволокли его тяжелое тело к выходу.

У паперти уже стояли старые дровни.

– Сюда его, господа. На сено бросайте, пускай навоза сдобного дыхнет.

Возниким был молодой опришник, принятый в гвардию царя Ивана неделю назад. Отрок был из мелких дворян и желал заслужить расположение самодержца, и когда Федор Басманов по приказу Ивана стал отбирать людей на почетную службу, молодец сумел приглянуться любимцу государя. Он ждал возможности отличиться, чтобы его усердие заметил сам царь-батюшка. Однако детина никак не мог предположить, что когда-нибудь придется арестовывать самого блаженнейшего Филиппа.

А Федька Басманов уже сердился нешуточно:

– Ну, чего замер истуканом?! Хватай быстрее вожжи! Свези митрополита в Богоявленский монастырь. Пускай в яме до казни посидит.

– Как прикажешь, Федор Алексеевич, – насилу оторвал взгляд молодец от поверженного Филиппа.

– Небось не доводилось таких узников видеть?

– Нет, Федор Алексеевич.

– Знатный тюремный сиделец из митрополита выйдет, вот только недолго ему томиться, через недельку сгинет в горящем срубе.

* * *

Два месяца Федора Колычева держали в яме, и каждый рассвет он встречал так, как будто он был в его жизни последним. С мыслью о близкой кончине владыка свыкся. И все-таки, следуя христианскому долгу, Филипп жил и молился о спасении, и, судя по тому, что даже стража продолжала относиться к нему по-прежнему, он понимал, что просьбы его стучатся в уши господа.

Иногда сверху до Филиппа доносился шепот:

– Мужайся, святой отец, будут еще и лучшие дни.

Если бы Федор Степанович не знал о том, что через железные прутья за ним наблюдает молоденький страж, он мог бы подумать, будто бы это голос самого господа.

Поднимет голову митрополит, благословит перстами своего тюремщика – и опять за молитвы.

Смилостивившись, Иван Васильевич отменил приговор церковного суда о сожжении, заменив его на вечное заточение в монастырской тюрьме.

В тот же день отца Филиппа перевели в Симонов монастырь.

Не нашлось для бывшего владыки иного места, чем глубокий сырой подвал, на стенах которого пузырилась известь, словно накипь на чугунном котле. Прочитал Федор Колычев очистительную молитву и вошел в свой новый дом.

Бывшего владыку сопровождал игумен Самон, и, когда Филипп приостановился у дверей своей темницы, никто из караульщиков не посмел подтолкнуть его в спину. Сам игумен поцеловал опальному владыке руку, а остальные чернецы и вовсе попадали ниц, признавая в нем великого страдальца.

Игумен Самон был строгий владыка, и узники предпочитали попасть в другой монастырь, чем находиться под его суровым началом. За незначительную провинность Самон мог лишить питания и пищи, поговаривали, что особенно нерадивых он замуровывал в толстых крепостных стенах. Игумен твердо уверовал в то, что в Симоновом монастыре он был третьим судьей после господина и государя. Однако, увидев Филиппа, он мгновенно растерял свою прежнюю суровость.

– Прости... не по своей воле держу, – говорил игумен, напоминая в минуту раскаяния смиренного отрока.

Игумен Самон чинить препятствий Филиппу не стал, настоятель относился к тем людям, которые не забывают добро, а потому велел выделить узнику келью получше, а для услужения приставил двух послушников.

Незаметно отец Филипп сделался в Симоновом монастыре почти хозяином. Он распоряжался чернецами так, как будто это был Соловецкий монастырь, где он еще не так давно игуменствовал, а монахи подчинялись ему так же охотно, как если бы это был их владыка. Порой они даже брали на себя смелость не выполнять распоряжений Самона, ссылаясь на указ опального Филиппа.

Походило на то, что Федор Колычев пришел в монастырь надолго: он создавал вокруг себя привычный порядок, и скоро монахи, следуя строгой воле бывшего святейшего, стали мастерить теплицу для диковинных заморских плодов.

О судьбе опального митрополита скоро стало известно по всей округе. Филипп знал полезные травы и прослыл как умелый врачеватель, и миряне, еще задолго до заутрень, выстраивались у его кельи в надежде быть принятыми.

Минуло почти десять лет, как Силантий бросил воровской промысел и, скрываясь от татей, ушел в пустынь. Долгое время он жил в полном одиночестве, очищаясь от скверны. Питался ягодами, грибами; от мяса отказался совсем, и когда ему однажды приснился Христос-мученик, он догадался, что пришло прощение.

Отец Филипп был первый, кто выслушал и понял знаменитого фальшивомонетчика, а потом, с покорностью раба, Силантий стал ожидать приговора на свою исповедь.

– Получится из тебя чернец, – отвечал тогда игумен Соловецкого монастыря заблудшему человеку, – приходилось мне знать таких, которые всю жизнь на дорогах кошели отбирали, а потом во главе праведной братии игуменствовали. Есть в тебе нечто такое, что заставляет уверовать. А если бы не было, разве поверили бы тебе разбойнички? Говоришь, монахом с детства мечтал стать?

– Да, святой отец.

– Вот и исполняй свое призвание... Отпущу я тебе грехи, и считай, что заново родился. И только не помышляй о старом ремесле, иначе покарает тебя господь. А с братией я пого-

ворю, примут тебя в Симонов монастырь чернецом, а там кто знает... может, и мне твоя подмога когда-нибудь понадобится.

Кто мог тогда догадываться, что слова владыки окажутся пророческими: он словно предвидел игуменство Силантия, свое возвышение до митрополичьего стола и государеву опалу.

Отец Филипп почти совсем отстранил Самона от игуменства. Однако в таком поведении бывшего Соловецкого владыки не было ничего дурного, он всегда жил так, как будто окрестные земли принадлежали только ему, и распоряжался ими так же уверенно, будто это был его собственный дом. Филипп привык жить величаво, и даже заточение в Симоновом монастыре он воспринимал как испытание, посланное ему свыше.

Симонов монастырь и раньше в бедных не числился, а с появлением опального Филиппа он мог тягаться даже с теми обителями, которые были обласканы царским вниманием. С этого времени в монастырь бояре стали делать огромные пожертвования, сюда шли, чтобы найти уединение и покой, услышать доброе слово.

Тишина монастырской жизни была нарушена неожиданно: в обители в сопровождении отряда опришников появился Малюта Скуратов.

Самон повинным пришел к келье великого старца и сказал, скорбя:

– Ничего не могу поделать, владыка Филипп. Сам Иван Васильевич опришников прислал.

– Чего же они хотят? – Федор Колычев мысленно приготовился к самому худшему.

– Благословения твоего хотят получить. Кто знает, может быть, все и обойдется?

И, оставив келью Филиппа, игумен каялся, очищая от греха сердце:

– Прости меня, господи, за недобрые мысли... если таковы возникали. Не желал я отцу Филиппу зла... Тесно мне было в таком соседстве... Убереги, господи, Филиппа от беды.

Малюта уверенно переступил стылую келью Филиппа, где все убранство составляли табурет да лавка – так и жил он всю жизнь.

Глянул Федор Колычев на Скуратова-Бельского и увидел, что тот постарел.

Видно, не по ровному месту протекала жизнь Малюты, а брела по косогорам; спотыкалась его судьба о коренья, останавливалась у буераков. Ведомы царскому любимцу оплеухи судьбы, потому голова его раньше положенного срока поседела наполовину. Григорий Лукьянович стал приземист и смотрел на окружающих так, как будто ожидал пинка.

Григорий Бельский и Федор Колычев смотрели друг на друга с яростью, на какую способны затравленные и зажатые в угол звери.

Им было достаточно увидеть глаза друг друга, чтобы понять: одному из них более не жить. Малюта прекрасно знал, что Колычев – не беспомощный отрок, который позволит себя придушить двумя пальцами, словно слепого котенка, Филипп будет драться с отчаянностью ратоборца, от которого зависит судьба всего воинства. Усмирить гнев не способны ни толстые стены, ни схимная ряса, ни тем более присутствие остальных чернецов. Исход поединка будет зависеть и от того, кто набросится первым. Может, настал момент, чтобы обхватить толстую шею Малюты да придавить его к холодным камням!..

Государев любимец заговорил первым:

– Я пришел по воле батюшки нашего государя Ивана Васильевича. Идет он в Господин Великий Новгород наказывать изменников и просит твоего благословения на благое дело.

– Благословения от меня царь-кровопийца захотел получить?! Не будет ему прощения! Так и передай царю. Татем и душегубцем жил, таковым и помирать будет.

– Дерзок ты, отец Филипп, на язык, даже заточение тебе на пользу не пошло. Впрочем, не ожидал я другого ответа. На этот счет у меня от государя тоже строгий наказ имеется. Эй, молодцы! – крикнул Григорий, и тотчас на его оклик в келью протиснулись четыре опришника.

Черными кафтанами опришники напоминали монахов, вот только метлы у пояса указывали на то, что у них другой чин, да еще, может быть, взгляд не так смирен, как у чернецов. Божьи избранники смотрят покорно, а если склоняют голову, то до самой земли, а эти загромыхали сапожищами о каменные плиты, как будто не порог кельи переступили, а в корчму забрели.

– Чего изволишь, Григорий Лукьянович?

– Придушите отца Филиппа, – коротко распорядился Григорий Лукьянович, – да чтоб не пикнул!

Опришники дружно навалились на старика. Зашелся сдавленным хрипом святейший и затих, распластавшись.

Малюта вышел во двор, а следом за ним неслышно ступали опришники.

– Почил старец Филипп, – вымолвил Григорий Лукьянович в толпу монахов, поджидавших опришников. – Мы в келью вошли, а он и не дышит. Жаль... Праведный был старик. – И, отвечая на немой вопрос монахов, продолжил: – Государь у Филиппа хотел благословение просить. К Великому Новгороду мы идем, смуту наказывать. Новгородцы ливонцам служить пожелали. Ну, чего застыли? – сурово прикрикнул Малюта на обомлевших чернецов. – К отцу Филиппу идите, обмойте.

* * *

– Матушка! Государыня Мария! – вбежала в покои царицы взволнованная Марфа Никитишна. – Царь Челяднина-Федорова порешил!

После смерти Анастасии Романовны боярыня Марфа не отдалилась от дворца. Совсем неожиданно для многих она получила распоряжение Марии Темрюковны, которая частенько спрашивала у ближней боярыни совета и не без помощи старухи постигала хитрость московского двора.

Дружба государыни и боярыни началась с того, что Марфа Никитишна учила черкешенку русскому языку, а затем стала приоткрывать дворцовые тайны, которые всегда были надежно спрятаны от постороннего взгляда.

Скоро черкешенка убедилась в том, что выбор сделан был удачно. Проведя десятилетия во дворе московских царей, боярыня была посвящена едва ли не во все дворцовые тайны. Она знала слабости царя Ивана, как свои собственные, и спешила делиться ценными наблюдениями с черкешенкой. Мария всегда щедро расплачивалась за преданность и одаривала ближнюю боярыню не только перстнями, но и посудой с царского стола.

Мария Темрюковна обладала пылким умом и научилась блестяще использовать слабости своего венценосного мужа. Царица сумела усилить свое влияние не только на Ивана, но и на весь московский дворец. Незаметно для государя Мария стала одной из первых фигур в Москве и подкладывала под бок сластолюбивого царя сенных девок, которые следили за ним куда пристальнее, чем горделивые Шуйские.

Мария Темрюковна знала о государе почти все, порой ей казалось, что она могла угадать, о чем думает Иван. Царица умело просчитывала каждый его проступок и всякое неосторожное решение мужа использовала себе на благо, увеличивая пропасть между ним и боярами.

Известие потрясло царицу. Некоторое время она не могла вымолвить и слова, а потом произнесла сдавленным голосом:

– Как убил?!

– Повелел Ивану Петровичу облачиться в царский наряд, потом усадил его на свое место и спрашивает: «Ты этого хотел? Вместо меня царем желал быть?!» А потом сразил бедного кинжалом.

Никого государыня не любила так страстно, как боярина Челяднина. Даже красавец Афанасий Вяземский не вызывал у нее того волнения, какое она испытывала, когда конюший касался ее руки.

– Нет! Это неправда, он не посмел бы! – не желала царица верить свершившемуся.

– Посмел, государыня, – отвечала Марфа Никитишна, – ему, супостату, все нипочем! Чего желает, то и воротит. Говорит, дескать, над ним только бог судья. Это еще не все, государыня...

– Рассказывай дальше.

– Надругался царь над телом. Велел отрубить сердешному голову, а потом отослал ее опальному митрополиту в монастырь. Видать, напугать старца Филиппа хотел.

Одна царица Мария знала правду: не митрополита он хотел запутать, а женушке своей непокорной пожелал дать урок.

– Я убью Ивана! – кричала Мария. – Едем в слободу! Немедленно!

– Неужто сейчас, государыня? – опешила Марфа Никитишна.

– Немедленно!

– Как же это мы так, государыня? Вестовых послать требуется, не примет нас царь. Назад воротит.

– Не примет?! – ярилась царица. – Я разнесу весь его монастырь! Я выволоку его оттуда за волосы! Я отомщу! – задыхалась от ярости царица.

– Государыня, не гневилась бы ты шибко. Крут царь, не посмотрит, что ты княжеских кровей, наказать может.

– Вели запрячь коней. Я еду!

– Ох, что ты с ней поделаешь, господи, – кручинилась ближняя боярыня, – не угомонится ведь, пока своего не добьется.

В дверях боярыня столкнулась с Басмановым.

– А ты откуда здесь взялся, лиходеи?! – вскричала Марфа Никитишна. – Или забыл, что это покои царицы?!

– Отчего мне забывать такое? Не забыл, Марфа Никитишна, – Федор Басманов втиснул боярыню в комнату. Дитина даже не взглянул на множество девок, которые, оставив свое рукоделие, со страхом наблюдали за молодым. – К царице я и пришел, и не просто так, старуха, а по указу самого Ивана Васильевича. Велит он не выпускать Марию из дворца до особого распоряжения. Наказал он еще о том, что ежели царица противиться станет... вязать ее по рукам и ногам и держать при строгом карауле. А чтобы измены никакой великому государю не случилось, неотлучно находиться при царице. Вот так, Мария Темрюковна!

– Дорогу! – завопила царица. – Дорогу, холоп, к государю я еду!

– Не велено.

– Дорогу дай, если жить хочешь.

– Руки слабы для такого дела, государыня. И не велено мне с тобой долго разговоры вести. Эй, холопы, – обернулся Федор назад. – Вяжите царицу-строптивицу. Да не жалеите ремней, круче, еще круче ремни затягивайте, – поучал он отроков, которые уверенно накинули ремни на руки государыни и стягивали так, как будто вязали обезумевшего дитину.

Царица кричала, бранилась гадко и напоминала рысь, угодившую в сети.

– Отомщу, холоп! Всех со света сживу! Подите от меня прочь!

– Не сживешь... обломаем мы тебе коготки. А теперь бросьте бабу на сундук, и пускай она в углу пыль глотает, пока государь не смилостивится. Ишь ты чего удумала, за Челяднина-злодея мстить!

– Увижу я вас всех еще на плахе, плюну в опозоренные головы! – плакала от бессилия царица.

– Ишь ты, она еще и дерзит! – подивился Федор Басманов, приятно ему было осознать власть над поверженной царицей. Было у него, что следовало бы припомнить Марии Темрюковне: явился он к ней однажды через потайную дверь, а она, вместо того чтобы приветить ласково, огрела его плетью, как похотливого бычка. С другими мужами государыня полубезнее была, а покойный Челяднин дневал и ночевал в покоях царицы. – Вот что, стрельцы, если царица несносной станет, так проучите ее розгами, а коли поправится... так берите ее всяко. Государь возражать не станет. Скоро он на польской королеве женится, – хмыкнул на прощание Басманов и оставил царицу наедине с неприветливыми стрельцами.

* * *

Федор Сукин явился в опришный дворец.

Окольничий не удивился, что к нему отнесли как к изменнику (чудит государь!). Долго держали во дворе, а потом повелели разнагишаться. А когда он сбросил с себя исподнее, долго глядели на него, давась от смеха.

– Ну, чего вы пялитесь? – обижался Сукин. – Что я, между ног булаву прячу?

Надсмеявшись вдоволь, опришники разрешили Сукину одеть порты.

Окольничий Федор Сукин поведал Ивану посольские дела без прикрас: Ганзейский союз косо посматривал на православного властелина, который стал не без успеха тягаться со своим южным соседом Сулейманом, а сам турок только и дожидался случая, чтобы опрокинуть русскую державу. В полный рост поднялась Дания, которая стала воспринимать Балтийское море как собственность короля.

Однако более всего тревожили царя шведские дела.

В углу, на резном табурете, были расставлены шахматные фигуры. Час назад царь играл партию с Афанасием Вяземским. Князь был очень силен в шахматах и едва не поставил государю мат.

Иван Васильевич подошел к доске и увидел, что проглядел ход, который позволил бы ему пошатнуть авторитет Афанасия Вяземского как искусного шахматиста. Жаль, что он не сумел разглядеть его раньше. Так и в политике: не разглядел иной раз чего, а недруги уже ногу подставили и хотят на спину опрокинуть.

– Так, значит, супруг Екатерины ступил на королевский трон? – спросил Иван Васильевич и поставил ладью на белую клетку. С этой позиции она уверенно грозила матом черному королю.

– Точно так, государь, а бывший король заточен в крепость.

– Поменялись, стало быть, братья местами?

– Поменялись... Теперь уже Екатерина не герцогиня, а королева!

– Что же это они меня об этом не известили? – хмурился Иван Васильевич и мизинцем опрокинул черного короля на доску.

Мат. Проиграл князь Вяземский.

– Не известят, государь, в обиде на тебя нынешний король.

– За что же? – лукаво недоумевал царь.

– За то, что ты к Екатерине сватался.

– Если не захотели меня известить, признать Иоанна королем не желаю! И пускай Сигизмунд держит свое слово и приведет к моему двору строптивую Екатерину.

– Не приведет, государь. Не по силам ему со шведским королем тягаться.

– Не приведет?... Хм. Не умру холостым. Вот только Ливонию жаль терять как приданое. А как в монастырь отправлю Марию, так женюсь. Слава богу, на Руси красивых боярышень предостаточно. Говоришь, послов русских в Швеции бесчестили?

– Бесчестили, государь, – проснулась в Сукине обида. – Нас, слуг царских, за мужиков держали, ни почета к нашим чинам, ни уважения. Приема к королю по несколько часов ждать приходилось, а порой и вовсе отказывали.

– Ладно, эта обида латинянам еще помнится. Эй, Федька! – позвал государь Басманова и, когда тот вошел, наказал строго: – Воротить шведских послов из Новгорода Великого, у меня к ним разговор имеется.

Неделей позже стрельцы вели связанных шведских послов по улицам Москвы и орали во все горло:

– Господа московские жители, смотрите, кто нашего государя Ивана Васильевич надумал бесчестить!

Не обращая внимание на смешки и хохот набежавшей толпы, бароны достойно прошли через весь Арбат до самого дворца.

Часть вторая

Глава 1

Неурожай последних лет казались небесной карой. И в этот год зной иссушил ранние весенние ростки, поверхность земли погрубела, обветшала и напоминала высушенный лик одряхлевшего старца. Если где и пробивался робкий побег, то он был настолько тонок и тщедушен, что, казалось, может сломаться даже от неосторожного чиха. Земля пожелтела и выглядела хворой. Она отрыгнула спрятавшуюся в недрах болезнь, которая вышла на поверхность на западных границах и опустошительным ураганом прошла через псковские и новгородские волости.

Эпидемия распространилась по России со скоростью необъезженного аргамака, заглядывая в ближние уголки и забираясь в самые отдаленные селения. Чума была настолько безжалостной, что в некогда многолюдных селениях уже не находилось человека, чтобы отзвонить по умершему панихиду.

Чума выглядела коварным и жестоким завоевателем, захватывая в страшный полон все новые земли, прибирая в когтистые лапы не только деревни и махонькие хутора, но и целые города, которые не способны были противостоять напасти и один за другим сдавались на милость врага.

Города вымирали в одночасье.

Как ни крепки и надежны были крепости, но болезнь проникала и в них. Северные города Кострома и Вологда почти обезлюдели, Великий Новгород был опустошен на две трети своих жителей, как если бы испытал иноземное вторжение.

Чума была везде.

От напасти нельзя было спрятаться ни в малых селениях, ни в больших городах; чума застигала на многолюдных перекрестках и безлюдных дорогах. Она походила на гончую, преследующую дикого вепря, и можно было не сомневаться в том, что она не отступит, пока не повалит зверя наземь.

Болезнь кромсала и обезображивала тела, оставляя глубокие рубцы, язвы. Чума метила своих избранников огромными вздутиями под кожей, которые напоминали вызревшие бобы, а потом человек чах так же быстро, как сорванный стебель, будто вместе со слизью из него по каплям убегала и сама жизнь.

Иван Васильевич повелел выставить вокруг столицы кордон из стрельцов, которые палили из пищалей и возвращали всякого, осмелившегося проникнуть в град. Болезнь вытравили жестоко, как будто имели дело с душегубцами или вероотступниками. Чумных вылавливали, травили как пакостный скот, загоняли в терема и сжигали безо всякого милосердия, невзирая на возраст и пол.

Обходя выставленные заставы стороной, чума пробралась в Москву. Она просочилась в город со множеством нищих, которые, покинув обескровленные города, потянулись к столице в поисках пристанища и хлеба.

В Москве хоронили до тысячи человек в день. Немногие из оставшихся в живых волочили за крепостную стену мертвецов и сбрасывали их в глубокие рвы, а когда ямы наполнялись, их слегка присыпали землей и ставили крест – один на всех.

Иван Васильевич уехал из столицы, надеясь пережить чуму где-нибудь в лесной северной глуши. Но эпидемия забиралась и сюда. Чума напоминала безжалостного неприятеля, который надумал взять Русь измором: обложить ее со всех сторон нечестивой тьмой, да и задавить.

Царь боролся с чумой свирепо, как если бы это был враг или неверный. Тридцать городов сразу были объявлены чумными, вокруг них были выставлены кордоны. Воинство, исполняя волю самодержца, не ведая жалости, расправлялось с бродягами, толпы чумных отроки запирали в домах и поджигали. Всюду дороги напоминали огромные кострища, где сжигалось все, что было поражено чумой, – имущество, повозки, скот. В городах караульщики мелом метили чумные дворы, заколачивали их наглухо, не жалея при этом ни мертвых, ни живых.

И то, чего не удалось осуществить в свое время Ивану Васильевичу, сумела сделать болезнь. Городская башня была почти лишена своих обитателей, а те немногие, кому посчастливилось выжить, были так напуганы напастью, что совсем не покидали города.

Гордей Циклоп в один месяц был лишен своего величия.

Чума сумела истребить едва ли не всех скороходов и вестовых, многие из которых были застрелены выставленными на дорогах караульщиками, другие, подобно еретикам, сгнули в полуме на дорогах, и только самые удачливые сумели преодолеть все заставы и добраться до благодетеля Гордея Яковлевича.

Именно они разносили заразу по московским посадам и улицам.

Битые чумой, с язвами на лицах, нищие вызывали ужас, и миряне шарахались от них так, как будто встречали саму смерть.

Истоцилась разбойная казна – Гордей отсылал серебро в богадельни, передавал в церковь. Много денег расходилось на отпевание и погребение. В дни скорби тать напоминал заботливого отца, что печется о своем многочисленном семействе.

– Все отдам, – заявлял бывший тать. – А ежели суждено нам выжить, так снова добра наживем.

Более половины монахов, составлявших некогда его окружение, почил в первый же чумной месяц, остальные сумели задобрить хворь огромными подношениями к алтарю и долгими молитвами. И только Циклопа Гордея чума не брала совсем. Она словно видела в нем родственную сатанинскую душу, а потому, явно испугавшись, отступила перед его высоченной сгорбленной фигурой, запечатанной в рясу плотно, как в саван.

Гордей Яковлевич продолжал жить и удивлять всякого своим неистребимым оптимизмом.

Тать появлялся в домах с чумными и, помня свое былое монашеское воспитание, отпевал умерших и давал на свечи медяки. Он походил на доброго господина, который печется о своем огромном хозяйстве, и знал: если сейчас не проявить усердия, то оно расплзется на многие кусочки, оставив после себя груду хлама.

Дома свиданий и лавки оставались пусты – не было с них дохода; никто не являлся к разбойнику с поклоном и не выкладывал обязательный «ясак» – базар тоже уже давно не собирал люда. Циклоп Гордей не требовал с купцов обидной мелочи, и они держались теперь тем, что продавали пирожки с луком да хлеб с тмином. Уже никого не манили дорогие броши и богатое сукно (выжить бы!), а не продав их, мошну не набьешь. Перевернула чума все! Обескровила не только рать Ивана Васильевича, но и воинство Гордея Циклопа. Если что и давало ему прибыль, так это питейные дома, где вино продолжало литься едва ли не пуще прежнего.

Даже поднатужившись, Гордей Яковлевич не сумел бы собрать воинство в пять тысяч отроков – кто забылся в вечном сне, а кто ушел в глухомань леса пережидать чуму. И если надумают возроптать данники, так и силы не хватит, чтобы образумить.

Пережить бы чуму, а там жизнь настроится, и по-прежнему потекут денежки к Циклопу Гордею с ближних мест и дальних волостей. А своим могуществом он еще сумеет подивить не только бояр, но и самого государя.

Даже сейчас, когда столица была перекрыта множеством кордонов, к Циклопу Гордею пробирались ходоки, которые в простых котомках приносили столько серебра, сколько хватило бы на проживание трех дюжин отроков в течение целого месяца. Даже сейчас, когда Русь была поражена чумой, сооружение Циклопа Гордея продолжало жить, правда, ныне оно не приносило огромных прибылей, как бывало раньше, и силы у него были не те, чтобы карать отступившихся, а заблудших направлять на путь исправления, но это здание не развалилось, оно всего лишь обветшало и требовало починки, чтобы потом стоять еще крепче.

Иногда караульщики перехватывали бродяг, крепко сжимающих старые котомки, в которых запросто умещалась казна небольшого города, и, переглянувшись, резали безродного богача, чтобы разделить между собой неожиданную поживу. Никто из них даже не мог предположить, что тайным убийством лишает Циклопа Гордея нажитых денег. Случись это в иные времена, Гордей Яковлевич послал бы по беспутной дороге своих молодцов, которые быстро сумели бы отыскать пропавшую котомку, а заодно наказали бы наглецов, посмеявшихся покуситься на состояние всемогущего татя. Не укрылся бы от праведного гнева разбойника и купец, посмеявшийся соперничать в могуществе с одноглазым детиной, и часа бы не прошло, как бродяги и нищие разорили бы не только лавку строптивца, но и рассыпали по бревнышку его хоромы; а сейчас что и осталось у Гордея Яковлевича, так это только молитвы.

Поуменьшилась свита у Гордея и стала не так пестра, как бывало раньше. В иные времена идет Гордей Яковлевич по улицам стольного града, а впереди скоморохи скачут и дорогу от встречных требуют уступить. Обступят циклопа нищие, а он направо и налево благословляет.

Сейчас Гордей Циклоп ступал почти в одиночестве: стража состояла из шести монахов, которые мрачными взглядами пугали всякого посмеявшегося хотя бы на пять саженой приблизиться к Гордею.

Чума!

И каждый нерадивый поспешно отскакивал в сторону, опасаясь схлопотать по плечам горячую плеть.

Бояре тоже съехали с града: кто на дачи, а кто подался в монастырь, справедливо полагая, что разговор с богом сумеет оградить от любой напасти. Второй раз Гордей Яковлевич оставался в Москве безраздельным господином, и чего ему не хватало для полного величия, так это дворца самодержавного государя.

Великий разбойник никогда не терял связи с царским двором и знал, что творится в государевых хоромы, так же хорошо, как собственные дела на Городской башне. Эта боярская любезность всегда стоила больших денег, но Гордей никогда не скупился, понимая, что она окупится, как только самодержец надумает вытеснить разбойничков из посадов. Порой Циклопу казалось, что он сам сиживает в Боярской думе, настолько красноречивы были рассказы лучших людей. А тут еще Москва полнится слухами – поговаривали, что царь Иван дюже разобиделся на своих вельмож и хотел скрыться от их измены и крамолы не где-нибудь на загородной даче, а в самой Англии! Будто бы купил царь в этих землях целый дворец и уже успел очаровать английскую королеву, которая готова была сигануть на шею русскому витязю, задрав подол, и наградить наследником.

Народ верил в эту молву охотно – и телом, и ликом государь был молодец. Каждого москвитя брала гордость за самодержца, что сумел он окрутить заморскую красу, и не какую-нибудь дворянку без рода и племени, а саму королеву! Одно непонятно было москвичам – почто из государства своего съезжать? Казни изменников и вези английскую королеву в Москву и делай наследников на душистой соломе, как предками заведено было. А ежели черкешенка более не мила (на то господня воля!), вези ее со двора и определяй в монастырь.

А еще поговаривали о том, что свергнутый шведский король Эрик XIV просил спасения на московской земле. Будто бы желает жить на даче неподалеку от Кремля, где и предпо-

лагает кончить последние дни. Москвичам оставалось только чесать лбы и гадать, где здесь правда, а где народная молва не сумела удержаться от вымысла.

Циклоп Гордей тоже имел свое суждение на государевы дела.

– Испакостил Иван Васильевич всю Русь, – безрадостно высказался он однажды. – Не место ему в Москве, пускай в Англию съезжает.

– Это как? – подивился Гришка.

За последние три года Григорий сильно раздобрел и раздался вширь. Одетый в рубище, он напоминал черный валун, который неловко перекатывался и готов был снести на своем пути любую преграду.

– А так!.. Латинян привечает, а свои православные от голодадохнут. Казнит почему зря. В Новгороде Великом и в Пскове царем недовольны, бунт в городах зреет, нам бы подтолкнуть этот бунт надобно, может, тогда и государь упадет.

– Неужно царя столкнуть желаешь?

– Желаю. Пошлем в Новгород верных людей, золота и серебра жалеть не стану. Государя в Вологде запрем, а вместо него Старицкого Владимира поставим. Братец-то его послушнее будет. Такой окаанный порядок, как при царе Иване, только убыток нашему делу приносит.

– Как же через кордоны-то пройти?

– А разве караульщики иной народ? Золото не пищали, любые ворота отворят.

– А как же опришники?

– Ведомо мне, что они тоже не шибко царя любят. Казнит он их без жалости.

– Как же мы до Ивана-то доберемся?

– Повара я знаю царского... Если господь позволит, так через него Ивана и порешим.

Гордей Яковлевич обернулся на государев двор.

Вот если бы он сам имел чуток княжеской крови, разве стал бы он на Старицких озира́ться? Спровадил бы государя с места и, назвавшись царским племянником, занял бы трон.

За татем народ не пойдет. Хотя и держат москвичи обиду на самодержца, но перед потомками Цезаря падают ниц.

Глава 2

Иван Васильевич был напуган.

Царь не желал оставаться ни в одном монастыре более двух дней. Появившись на новом месте, повелевал запира́ть кельи и, сопровождаемый усиленной охраной, прятался в отведенных покоях. В сопровождении караула он не только трапезничал, но даже ходил по нужде.

Малюта пугал Ивана Васильевича многими изменами: без конца говорил о том, что зреет заговор, а на северных окраинах русского отечества и вовсе беспокоен. Что будто бы новгородские и псковские вельможи желают видеть на царствии его двоюродного брата Владимира Андреевича и будто бы мать его, карга старая, великая княгиня Ефросинья, принимает в Городецком монастыре послов и наказывает всем величать себя не иначе как государыней, а Володимира – самодержцем и царем всея Руси.

Вот потому Иван не желал задерживаться, в каждом монастыре ему чудилась измена. Игумены, стараясь усмирить государев гнев, дарили самодержцу чудотворные иконы и золотые оклады. А когда наконец государь отбывал, братия в облегчении крестилась, понимая: будь у Ивана Васильевича настроение иное, пожертвовать пришлось бы большим.

Слушая Малюту, Иван Васильевич едва не терял рассудок от отчаяния, он хватал Григория Бельского за руки и приговаривал неистово, брызгая на парчовый воротник слюной:

– Гришенька, родимый мой, спаси, убереги своего государя! Только одному тебе я доверяю. Ежели не ты, так отравят меня Старицкие, как женушку мою покойную Анастасию Романовну.

– Ох непросто, государь, с супостатами и лиходеями сладить, – важно сопел Малюта Скуратов, словно по-настоящему взваливал на плечи заботу о государе. Шмыгнет воровато носом Малюта и продолжает: – Из Пытошного двора не выхожу, государь Иван Васильевич. Две сотни людишек успел повязать, а смуте конца и краю не видать. Но одно ясно: новгородские бояре хотели тебя с престола согнать, как это сделали вельможи в Швеции с законным королем Эриком XIV... Теперь там его младший брат правит.

– Все бояре меня ненавидят, Гришенька! Сговорились супротив меня. На отцовский стол зарятся, который мне по праву рождения достался. Только не бывать этому! Что тебе еще известно, Гришенька, говори, только не молчи!

– Есть еще, государь, для тебя новости... невеселые. Мы тут твоего повара в темницу заточили. На прошлой неделе он в Нижний Новгород съезжал, якобы за белорыбницей, а на самом деле для того, чтобы со Старицким Владимиром повидаться. Думается мне, братец твой и передал повару порошок, чтобы тебя со света изжить.

– Неужно порошок отыскивали?

– Отыскивали, государь. А еще деньги при нем были большущие. Под пыткой он признался, что князь деньжат ему дал для того, чтобы гулящих людей на бунт поднять.

Малюта отвык государю говорить правду. Точнее, она у него получалась несколько иной, подобно солнечному лучу, что преодолевает водную толщу, – обломится он где-то с поверхности и добирается до песчаного дна кривым расплывчатым пятном. Если сказать правду про Гордея Циклопа – не поверит! Да и мыслимо ли такое дело, чтобы тать боярам оклады раздавал. А Старицкому Владимиру все равно не жить. Если не сейчас, так годом позже опалится государь на братца. Так почему же Ивану Васильевичу добрую услугу не оказать и Володимира к плахе не подвести?

– Вот что, Малюта, – Иван Васильевич справился с дрожью в руках, – затянулась моя ссора с братцем. Видно, не хочет он признавать во мне старшего. Делай как знаешь.

– Сделаю как надобно, Иван Васильевич. – Скуратов-Бельский притронулся губами к сухой ладони своего господина.

Вышел Малюта, а Иван облегченно вздохнул, понимая, что более к этому разговору возвращаться не придется. Григорий Бельский научился понимать государя даже тогда, когда тот молчал.

Неделей позже скороход догнал царя на пути в Великий Устюг. Он-то и сообщил государю, что великая княгиня Ефросинья скончалась во время шествий по богомольным местам (и только Малюта Скуратов знал о том, что двое молодцов отравили старуху на постое угарным газом), а Владимир Андреевич скончался от падучей (князь Старицкий принял из рук Малюты кубок с вином и на глазах у десятков опришников свалился замертво).

Великого государя Малюта Скуратов застал в Великом Устюге.

Ивану Васильевичу было уютно за его крепкими стенами, и он всерьез стал подумывать о том, чтобы перенести столицу в таежный край. Даже чума как будто боялась чистого таежного духа и северных ветров, а потому, сделав большой крюк, прошла стороной.

Малюта Скуратов приехал с докладом. Государь не скрывал своего интереса к нижегородским князьям, спросил сразу:

– Исповедался ли Владимир перед смертью?

– Не пожелал, государь. Мы его с твоим поваром свели, так он тотчас признался, что мыслил вместо тебя царем быть, – врал, не моргая, Малюта. – Так и сказал, что лучшего государя, чем он, не будет.

– Ишь ты! Дальше что было?

– Поплакал он еще малость, а потом зелья испил, что для тебя готовил.

– Что с поваром стало?

– А чего злыдня жалеть? Порешили мы его.

– Как моя женушка во дворце, не слишком балует?

– Как ты и повелел, государь Иван Васильевич, держим мы ее взаперти, никого к ней не допускаем. Совсем иссохла баба, мужика хочет, того и гляди помрет от плотской похоти.

– Ничего, авось обойдется. А если и преставится, страшного ничего не случится. Недобрые чары своей женушки знаю, менять караул каждый день, чтобы отроки не успели привыкнуть к царице и жалостью не изошли. А если кто из молодцов не устоит перед ее похотью... живота лишит!

– Накажу стрельцам, государь, чтобы знали.

– Всех ли крамольников выявил, Гришенька?

– Всех, государь. Перед тем как повар преставился, на подьячего указал. А тот всех мятежников знает. Списывался с ними злодей, а еще грамоты отправлял и к мятежу удельных князей призывал. Если бы мы, государь, опоздали хотя бы на недельку, такая крамола по Руси пошла бы, что долго унять не сумели бы.

– Всех изменников казнить!

– Слушаюсь, государь.

– Нет. Для пущего страха пометать всех в реку!

– Сделаю, государь, все, как велишь, исполню. А еще я тут дознался, что многие опришники с земскими боярами стали дружить. А Ивашка Висковатый так и вовсе своей дружбой с земщиной похвастается. Говорит, что, дескать, через опришнину разорение одно.

– Вот оно что? Взял я к себе его во дворец из гноища, так пускай в гноище и возвращается.

– А далее, батюшка-государь, и говорить боязно, – замаялся вдруг Григорий Лукьянович.

– Говори, Гришенька, все без утайки поведай. Только тебе одному и есть вера.

– Предали тебя твои любимцы.

- Кто предал?
- Федька Басманов и Афонька Вяземский. С новгородцами списывались, жизни тебя лишить хотели.
- С кем списывались Федька с Афонькой? Имена главных зачинщиков хочу знать. Малюта Скуратов и на этот вопрос знал ответ, перевел он дух, а потом отвечал:
- Главными из них будут земский боярин Василий Данилов и дьяк Бессонов. А еще Плещеевы... они в кровном родстве с Басмановым, государь... если ты не запомнил.
- Не запомнил, Григорий. Ты про Федьку Басманова и Афоньку Вяземского с пыток у других зачинщиков дознайся. Если и вправду враги они мне... не помилую!
- А с Висковатым что делать прикажешь, государь?
- Он и в речах ко мне стал непочтителен, Гришенька. Не трожь его пока, сам в грязь хочу втоптать.

Глава 3

– Разве можно такое рассказать, Гордей Яковлевич, – говорил страстно Григорий, хмуря круглое лицо. – Как государь к Новгороду подошел, так его с крестом встречать стали, а он благословение принять отказался, архиерея изменником обозвал. А что далее началось, и пересказывать страшно.

– Ты рассказывай.

– Отобедал государь у архиерея, – Григорий старался не смотреть на развороченное лицо разбойника, – а потом опришникам повелел изменников наказать. Хватать они стали всех без разбора, что мужиков, что баб. По ногам повязали и в Волхов стали метать. А кто всплывал, подбирались к ним на стругах и топорами, и рогатинами топили без жалости. На меня тоже кто-то донес, что я пришлых людей деньгами к бунту подбивал. Пытали меня поначалу, пятки огнем жгли.

– А ты что?

– Я и словом не обмолвился. А когда поняли, что не выведать у меня ничего, вместе с другими несчастными в Волхов столкнули связанным.

– Как же ты спасся? – удивился Гордей.

– Сам не знаю, – пошевелил огромными плечами босяк. – Видно, матушка моя на том свете за меня крепко молилась, вот и оградила от беды. Очнулся я от моста саженой за сто. Пошел к купцу, у которого остановился, а как явился на двор, то увидел, что дом его разорен.

– Беда, что и говорить.

– Уже потом дознался, что его вместе с женой и чадами смерти предали. Затаился я на пустыре, а потом прямехонько сюда.

– А что с Пименом стало, архиереем новгородским?

– Его тоже беда стороной не обошла. Обвинил царь владыку в том, что якобы знался он с мятежным конюшим Челядниным. Велел государь посадить его в темницу, а там тюремные сидельцы придушили старца за горсть монет, – вздохнул отрок.

Нахмурился Гордей Яковлевич, было видно, что опечалила его смерть владыки. Совсем недавно архиерей председательствовал на соборе, который осудил митрополита Филиппа, и вот теперь разделил его участь.

Видно, поперек горла встали архиерею тридцать сребреников.

– К Семену Блину не наведывался? Жив ли? – спросил Циклоп.

– Как все, – отвечал Григорий. – Вместе со всеми в Волхов прыгнул. Жаль мужика, без него нам туго придется. Великий Новгород – город купеческий. Он всегда богатым был, такой доход приносил, что всей нашей братии надолго хватало. А теперь даже представить трудно, когда Господин Великий Новгород от разорения оправится.

Семен Блин был один из тех десяти монахов, с которыми Циклоп Гордей подчинил себе московских татей. В далеком юношестве они приняли постриг в одном монастыре и также заедино вышли на дорогу с кистенями, тем самым доказав еще раз, что от святости до греха единственный шаг. Вместе они крепили свое могущество и без конца расширяли границы воровского ордена. Семен Блин был при Гордее Циклопе чем-то вроде «воеводы» Новгорода: именно он собирал монеты с «кружечных мест» и харчевен, помогал купцам избавиться от тяжелой мошны. Семен был судьей на правеже, если «лихие люди» не ладили между собой.

Вместе с разоренным Новгородом пал и его воевода.

– Нелегко нам придется без Семена.

– Что правда, то правда. Задавил нас государь. Всюду свою опришнину насадил, травят нас как могут. Раньше пришлые люди хоть к церквям жались, а теперь государь монастыри земские порушил и казну их пограбил.

– Отчего они Семена-то сгубили? Неужно про воровской промысел его догадались?

– Не догадались. А сгубили потому, что он дюже богат был. Сам тысяцкий и бояре новгородские денег у него одалживали. Шепнул кто-то из недругов государю о том, что Семен Блин золотишко при себе держит, вот оттого и пограбили его опришники. А состояние его царь к себе в казну забрал. Что делать-то будем, Гордей Яковлевич?

Циклоп Гордей кашлянул сухо в ладонь, долго изучал шершавую поверхность тыльной стороны, а потом спросил:

– Сколько же всего людей погублено?

– Всех и не сосчитать. Губил государь новгородцев целыми улицами, – вздохнул Гришка.

– Вот что мы сделаем, Григорий. Пустим слух о том, что будто бы государь в Москву возвращается затем, чтобы горожан живота лишить за неповиновение... А теперь позови мне Калису, спину медом пусть натрет, а то я с поясницей совсем намаялся, – пожаловался Циклоп, – руки у нее больно ладные, боль в один раз снимает.

Григорий догадывался, что Гордей Яковлевич назвал не все достоинства Калисы. Своими умелыми руками она лечила не только поясницу разбойника, но и его угасающую мужскую силу. Порой баба бывала так откровенна в своих ласках, что даже стареющее тело Гордея Циклопа не оставалось к ним равнодушным. После каждой такой встречи с кудесницей тать чувствовал себя почти юношей. Жар, исходивший от поясницы, накалял все его тело и разжигал мужское начало. Баба умела доводить Гордея до исступления.

Как появилась на Городской башне Калиса, никто не знал, и как-то однажды, будучи сильно во хмелю, Гордей Яковлевич признался, что купил бабу за десять золотых монет у одного важного крымского эмира, который содержал юную полонянку в своем гареме.

Вот там-то Калиса и познала все премудрости любви.

Глава 4

Государь долго хохотал, когда, выехав вперед на жеребце, испугал множество девок на самой окраине леса, которые, взявшись за руки, водили хоровод. Красавицы пустились от самодержца наутек, совсем позабыв про приличия, позадирали до колен сарафаны и скрылись в густой ржи.

Видать, не признали государя, за татя приняли.

Куда больше самодержец удивился позже, когда, проезжая многие села, он не встретил ни одного челобитчика. Вестовые уверяли государя, что наказывали старосте ударить в колокола; уверяли, что деревни еще час назад были полны народа: будто бы бабы с коромыслами ходили по воду, а ребяташки помладше забавлялись в салочки, разве что мужиков, как всегда, было поменьше – кто в поле был, а кто на покос отправился.

А вот теперь тишь!

Иван Васильевич полыхал злобой и срывал ярость на жеребце, без конца обижая его горячими ударами, и тот, досадуя на хозяина, пробегал мимо опустевших селений.

Так государь добрался до московских посадов.

Соборные колокола молчали и здесь, и только бабы, встречающиеся иной раз, убегали с такой прытью, как будто вместо государевой рати видели уланов крымского хана.

Перед въездом в Москву отряд государя увидел мужика, сидящего на поленьях. Дитина, заметив царя, сиганул через плетень, не отдав обязательного поклона царю.

– А ну, стой! – сумел ухватить Малюта мужика за отворот рубахи. – Или розог захотел отвеждать?! Почему государю не кланяешься?!

Григорий так яростно тряхнул мужика за шиворот, будто хотел освободить его не только от тесной сорочки, но и выбить из щуплого тела остаток жизни.

– Здесь у нас слух прошел, будто бы государь в Москву едет изменников карать, а заодно и тех, кто ему на дорогах да в посадах повстречается.

– Вот оно что! – подивился Малюта. – Кто же такой слух распустил?

– А разве поймешь? Все говорят, – оправдывался мужик. – Тут как-то бродяги из Великого Новгорода проходили, так они порассказали, что будто бы государь всех новгородцев побил и в Волхов пометал.

Поднял руку Малюта, чтобы угостить мужика горячей плетью, но раздумал.

– Ладно... Ступай себе. Разберемся мы еще, кто такие небыли против государя распространяет.

* * *

Работа началась с самого рассвета. Истопники свезли спозаранку на площадь смоляной ельник, а плотники, засучив рукава, взялись за топоры и принялись яростно обтачивать бревна. И совсем скоро возник высокий помост, на котором журавлями возвышались виселицы.

В этот день торг был почти пустынен – мешало близкое соседство с виселицами. Хозяюшки, прикупив зелень, расходились по домам, и только купцы стояли на страже у своих рядов и не смели покидать свезенный товар.

Казнь в Москве была делом привычным, и на нее являлись, как на развлечение. Мужики шли на площадь в новых портах и рубахах. Разговоры велись степенные и неторопливые, и, поглядывая на свежеструганый помост, каждый невзначай задумывался о незавидной судьбе приговоренных.

Казнь собирала народу никак не меньше, чем праздный выезд государева поезда, когда в толпу ротозеев выбрасывалось несколько мешков мелких монет.

Сейчас, не считая дюжины зевак и троих юродивых, площадь оставалась пустынной. Не прибавилось народу и после того, когда глашатай зачитал указ о государевой измене и о скором суде над виновными.

Самодержец выехал через Спасские ворота ровно в полдень. Иван Васильевич был торжественен, а малый наряд, состоящий из парчового кафтана и золотого шлема с полумаской, только оттенял белизну его кожи, выглядевшей в этот солнечный день почти нежной.

Государя сопровождало две сотни молодых рынд, сжимавших в руках позолоченные парадные топоры, которые из красивого украшения могли превратиться в грозное оружие и опуститься на голову дерзкого. А за стрельцами, связанные между собой чугунной цепью, топали колодники. Первым из них был печатник Висковатый. Еще недавно он был думный дьяк и глава Посольского приказа, теперь же обычный узник, каких томилось в государевых темницах многие сотни.

Иван Васильевич поначалу хотел простить бывшего слугу, повелел привести его во дворец и сказал, что, ежели тот покается принародно, может идти куда пожелает. «Не в чем мне каяться, государь, – отвечал непокорный дьяк, – верой я служил, видать, с правдой помру».

Вот и сейчас Висковатый был прямее других.

Не согнулся Иван Михайлович даже под тяжестью цепей, и уж тем более не могли сломать его настороженные взгляды москвитов, которые со страхом смотрели на бывшего царского любимца.

Лица узников выглядели спокойными. Ни страдания, ни злобы невозможно было разглядеть в их глазах – все осталось на Пытошном дворе. Тюремные сидельцы шли гуськом, шаг в шаг, напоминая несмышленный выводок, следовавший за мудрой родительницей. Вот только вожаком была не гусыня, а Никитка-палач, и вел он не к чистому пруду, заросшему сочной и сладкой травой, а к свежеструганному эшафоту, пропахшему смолой.

Пуста была площадь.

Словно недавняя чума сумела выкосить народ подчистую, оставив памятником общей беды длинные торговые ряды. Не было москвитов и у Лобного места, где обычно толпились мастеровые и ремесленники, где заключались сделки да ждали со двора последних новостей.

– Почему народ не собрали? – хмуро посмотрел Иван Васильевич на Федьку Басманова, который сжался под строгим господским взглядом.

С недавнего времени царь стал холоден со своим любимцем, и Федька терзался в догадках, какова была причина перемены в настроении государя. Может, оговорил его кто из недоброжелателей, а то и вовсе посмели околдовать Ивана Васильевича завистники, напоили его приворотным зельем и сумели внушить дурное о верном боярине.

– Это мы мигом, государь! А ну созывай народ, пускай все посмотрят, как Иван Васильевич крамольников наказывает! – прикрикнул Федька Басманов на опришную дружину.

– Гойда!.. Поспешай! Окликай народ! – яростно орал молоденький сотник, впервые в этот день увидавший государя вблизи. Дитина совсем ошалел от счастья и, увлекая за собой опришников, повернул коня в ближайший переулок. – На площадь, москвиты! Государь зовет!

Не минуло и получаса, как площадь была полна народу. Озираясь на черные кафтаны и собачьи головы, болтающиеся у седел опришников, москвиты послушно плелись к месту казни. Иных государевы слуги подгоняли нагайками.

Царь сидел на высоком, серой масти жеребце, который никак не мог устоять на месте и без конца перебирал тонкими ногами, как будто исполнял замысловатую пляску. Государь

тронул вожжи, и конь отделился от толпы опришников. С минуту жеребец гарцевал в одиночестве, а потом, повинуясь воле хозяина, шагнул навстречу примолкшему народу.

Конь был зело красив. Седло позолочено и украшено сафьяном; серебряные бляхи скрывали бока и грудь лошади.

– Господа московские жители, верите ли вы своему государю-батюшке? Верите ли вы в то, что царь не наказывает безвинных?

Иван был красив, даже гнев не сумел испортить его лика. Почти болезненная белизна сумела сделать его облик особенно торжественным. Москвичи научились прощать государю все, и Иван Васильевич мог надеяться, что искупление он получит уже сегодняшним вечером.

– Верим, государь!

– Кому же верить, как не тебе, Иван Васильевич!

– Ты наш отец, тебе одному и решать, кого миловать, а кого смерти предавать!

– Так вот что я вам хочу сказать, – произнес государь. – Все эти люди изменники. Аспидами грелись они на моей груди, лстивые слова нашептывали в уши, а сами всегда думали о том, как извести своего государя. А разве не был я им добрым батюшкой? Разве я их не любил? Забыли холопы про то, что я возвысил их над всеми, отстранил своих прежних верных слуг в угоду крамольникам! Усыпили они меня сладкими речами, а сами от моего имени вершили худые дела и наказывали безвинных. Так неужно простить крамольникам зло, которое они содеяли?!

– Не прощай, государь! Казни изменников! – завопил один из мастеровых, стоящий у торговых рядов.

– Здравым будь, государь! Многие лета живи, Иван Васильевич.

– Надобно изменников наказывать. Пусть же они сгинут в геенне огненной! – ликовали собравшиеся, понимая, что государев гнев прошел стороной. – Накажи их, государь!

– Казни!

Задумался Иван Васильевич, глядя на осмелевшую челядь. Точно так же в римских амфитеатрах разбуженная кровью толпа требовала от гладиатора продолжения жестокого представления. А сам государь был в роли императора, и достаточно было только движения мизинца, чтобы даровать или отобрать жизнь.

Царь и государь всея Руси был римских кровей.

– Начинай, – обронил Иван Васильевич.

– Кого первым, государь? – спросил Григорий Скуратов-Бельский, хотя уже предугадывал ответ.

– Висковатого Ивашку.

– Слушаюсь, государь.

Кроме раздражения, которое Иван Васильевич питал к дьяку, была еще одна причина не любить Висковатого, а именно его шестнадцатилетняя дочь Наталья.

Год назад государь посетил своего печатника – суетливо сновали по дому слуги, хлопотлив был хозяин, и только пятнадцатилетняя красавица оставалась равнодушной к неожиданному приходу самодержца.

– Кто такая? – ткнул Иван Васильевич перстом в ненаглядную красу.

Зарделась девка в смущении, а печатник Висковатый отвечал:

– Дочь это моя... Натальей нарекли.

Славно погостил тогда государь. Вино у печатника оказалось сладким, закуска добрая, но особенно памятни Ивану Васильевичу были засахаренные орешки.

Когда самодержец двор покидать стал, склонился к уху думного дьяка и произнес:

– При дворе хочу твою дочь видеть. Пускай для начала в сенных девках послужит.

Ощетинился Иван Михайлович ежом, но сумел найти в себе силы, чтобы ответить самодержцу достойно:

– Мала она, государь, для такой чести. Пусть дома пока посидит, а как постарше станет, тогда ко двору и представлю.

– Государю прислуживают сенные девки и помоложе, нежели твоя дочь, – неожиданно весело произнес Иван Васильевич, и его смех задорно подхватили стоящие рядом опришники.

Настало самое время, чтобы припомнить печатнику и этот отказ. Царь сладко поежился, подумав о шестнадцатилетней непорочной красе.

Заплечных дел мастера подвесили Висковатого за ноги, он изогнулся, словно огромная рыба, попавшаяся на крючок, а потом смирился, затихнув, и только переключина натужно скрипела в такт раскачивающемуся телу.

Никитка-палач черпнул из кипящего котла ковш воды и плеснул на голову дьяка.

– Аaaa! – заорал Висковатый. – Будь же ты проклят, государь-мучитель!

Никитка-палач вытащил из-за пояса нож и подошел к Висковатому. Толпа в ожидании замерла. Дитина напоминал мясника со скотного двора, который намеревался освежить тушу. Вот сейчас подставит под свесившуюся голову огромный жбан, и кровь, хлынув, наполнит его до краев. Заплечных дел мастер ухватил Ивана Михайловича за нос и в следующее мгновение отрубил его ударом ножа. После чего на все четыре стороны показал кровавый обрубок, а затем швырнул его в кипящий котел. Затем отрубил оба уха. Залитое кровью лицо Висковатого было страшным. Он кричал, проклиная мучителей.

Если кто и оставался на этом суде плоти беспристрастным, так это палач. Никитка знал свое дело отменно. Он не допускал ни одного суетливого движения. Палач напоминал великого лицедея перед искушенной и требовательной публикой. Каждый жест у дитины был выверен, рассчитан каждый шаг на узенькой сцене. И если бы кто-то в толпе захлопал в ладони, он наверняка поблагодарил бы знатока кивком головы.

Потом Никитка-палач разорвал огромными ручищами рубаху осужденного, выставляя на позор его сухое тело, и сильным ударом топора перерубил его пополам.

– Ха-ха-ха! – раздался веселый смех.

Многим показалось, что сам дьявол захохотал из преисподней, а небеса отозвались ему в ответ скорбным эхом.

Взгляды собравшихся были обращены на небо, но с Кремлевской стены на плаху взирали четыре женщины.

Одна из них была в ярком приталенном наряде черкешенки.

– Государыня! – выдохнула толпа.

Мария Темрюковна стояла между бойницами и потешалась так, как случалось во время выступления заезжих скоморохов.

Помрачнел Иван Васильевич, узнавая в дьяволе непокорную жену.

– Едва бабе послабление дал, а она уже на стену залезла. Сгони эту чертовку во двор. Совсем рассудка баба лишилась, перед всем честным народом меня опозорить надумала! – наказал Малюте царь.

– Будет сделано, государь.

А смех все более усиливался, будоража своим откровенным весельем и бояр, и челядь.

Григорий Лукьянович направился к Спасской башне. Распахнулись перед думным чином тяжелые ворота. Башня служила и государевой темницей, здесь свои последние дни проводил дьяк Висковатый. Малюта Скуратов по узенькой лестнице поднялся на Кремлевскую стену.

Царица находилась в окружении девиц, она ликовала так громко, как будто участвовала в каком-то празднестве. Глянул вниз Скуратов и увидел, что площадь замерла, наблюдая за

тем, как Никитка клещами рвет плоть следующей жертвы. Весело было и остальным девицам, и они, стараясь не отстать от госпожи, хохотали вместе с ней.

Григорий некоторое время наблюдал за царицей. Похорошела чертовка, так бы и взял ее в каменном коридоре, приставив головой к стене. Раньше, бывало, сама в светлицу зазывала, а как с Челяднинным сошлась, так нос стала воротить.

– Ишь ты, как на казнь глазеет, прямо даже отрывать жаль.

– Вот я и увидела твою кончину, – кривила от злобы государыня губы.

– Государыня, – буркнул Малюта в спину Марии. – Иван Васильевич сердит на тебя.

– Что ему надо? – внезапно прервала смех Мария Темрюковна.

– Не положено бабам казнь зреть. А ты ведь не только смотришь, но еще и народ громким смехом смущаешь. Государя на позор перед всем честным миром выставляешь.

– Передай Ивану, что он мне не указ. Не ему одному тешиться. А теперь пойдй прочь, холоп, и не мешай нашему веселью.

Царица вновь зашлась смехом, от которого даже у Малюты Скуратова по спине пробежал холод.

– Государь еще велел передать, – спокойно продолжал Малюта, – что ежели надумаешь его воле прекословить, то он, как в прошлый раз, велит стянуть тебя ремнями по рукам и ногам... и караул к тебе поставит.

Губы царицы гневно дернулись – вспомнила чертовка свое недавнее бесчестие. Метнула злобный взгляд на Малюту и пошла в противоположную сторону, увлекая за собой послушных боярышень.

Еще до казни прошел слух, что большая часть осужденных будет помилована, что будто бы приведут горемышных на площадь только затем, чтобы отпустить с миром. Однако казни продолжались. Никитка-палач успел изрядно взмокнуть, и под лопатками у него неровными пятнами проступал пот. Уже унесли вторую корзину с обрубками человеческих тел, а у помоста, выстроившись по двое, дожидались своей очереди остальные осужденные.

Иван был рассержен и не скрывал этого. Он сошел с коня и пошел вдоль строя колодников. Иван Васильевич возвышался над всеми остальными на целую голову и казался Ильей Муромцем среди повинных ворогов. Вот государь остановился напротив столбника Михаила Гуся. Малюта Скуратов дознался, что этот отрок подкладывал в государевы блюда снадобья, от которых царь должен был неминуемо сгинуть.

Михаил взгляда не прятал и смотрел эдаким гусаком, готовым ущипнуть Ивана Васильевича за нос.

– Смерти моей желал, пес смердящий? – спросил государь.

– Желал, – достойно отвечал отрок.

– Сделай милость, ответь мне перед отходной молитвой, чем же тебе царь не угодил?

– Бесстыжий ты, Иван Васильевич, девок тьму попортил. Не по христианским это обычаям. А еще сестру мою, Оксану, ссильничал и наложницей своей сделал. Потому и хотел с тобой посчитаться.

– Разговорился ты перед смертью, – Федор Басманов что есть силы ткнул отрока копьем в грудь.

– Спасибо, государь, что честь мне такую устроил... подле тебя помираю, – шептал Михаил Гусь, – жаль только, что без отходной молитвы...

Не договорил отрок и бездыханным упал у ног самодержца.

Переступил Иван Васильевич через разбросанные руки и пошел дальше выбирать себе собеседника.

Этот июльский день был особенно долог. Казни протянулись до глубокого вечера. Спектакль, где главным действующим лицом был Никитка-палач, продолжался. Заплечных дел мастер только иногда посматривал на распорядителя – угрюмого Малюту Скуратова, –

и вновь вдохновенно начинал исполнять свое дело: рубил отступникам конечности, подкидывал обрубки вверх.

Никитка-палач был на своем месте, и трудно было представить человека, который справлялся бы с этим ремеслом лучше, чем он. Никитка словно забирал силу от убиенных и совсем не ведал усталости. Он будто бы бросил вызов самому июльскому солнцу, которое успело истомить собравшихся, разморило самого государя. Светило само успело устать и с отвращением спряталось за купола церквей. Замаялись даже извозчики, которые, не ведая конца, отвозили изуродованные трупы за Кремлевскую стену к Убогой яме.

Солнце медленно склонялось на закат и теперь выглядело красным, словно и оно успело запачкаться в крови.

Махнул последний раз топором двужильный Никита и справился с работой.

А потом поклонился на три стороны, задержав склоненную голову перед тронном государя.

Площадь выглядела унылой. Неохотно расходились мужики, и только громкий голос опришников сумел растормошить зрителей, которые шарахались в стороны, опасаясь попасть под копыта государева жеребца.

– Гойда! Гойда!

– Гойда! – поспешали следом стрельцы, весело понукая лошадок, и скоро скрылись в узеньких улочках.

– Государь, куда мы? – посмел поинтересоваться Григорий Лукьянович у самодержца, чутьем сатаны чуя новую забаву.

– Зазноба у меня имеется. Натальей зовут. Непорочная деваха. Уж очень хочется сладость ей доставить. – Иван Васильевич вогнал шпоры в бока коню.

Малюта Скуратов не сомневался в выборе государя, когда тот повернул жеребца к дому дьяка Висковатого.

Иван Михайлович поживал богато, и его хоромы отличались той обстоятельностью, какая чувствовалась во всей фигуре покойного. Если думный дьяк делал чего, то это было всегда основательно – будь то Посольский приказ или печатное дело. Вот потому хоромы его высились надо всеми домами, а красное крыльцо было так велико, что по ширине не уступало иной московской улице.

Окна в хоромы были черны, только в тереме через темную слюду едва пробивался желтый свет лучины. Брехнула собака и умолкла, будто и она горевала по скорой кончине доброго хозяина. Царь спешился и, поддерживаемый под обе руки опришниками, пошел на крыльцо.

– Богато в моем царстве дьяки поживают, нечего сказать! – восхитился Иван Васильевич. – А все жалуются на своего государя, по будто бы притесняю я их. И как же они своего государя за великие милости чтят? Даже на крыльцо никто не сподобился выйти!

– Видать, не шибко нам здесь рады, государь, – отвечал Малюта Скуратов, – только собака разок хвостом вильнула, да и та в будку спряталась.

– А может, хозяева от великой радости порастерялись? Ведь не каждый день к ним царь-государь на двор является?

– Видно, так оно и есть, Иван Васильевич.

– А меня думный дьяк Ивашка Висковатый все к себе в гости зазывал. Дочь, говорит, на твои светлые царские очи представить хочу. А как я появился, так никто и встретить не желает... Отворяйте, хозяева добрые, не ломиться же нам в закрытые двери!

Иван Васильевич увидел, как к окнам прильнули перепуганные лица девок, а потом, стакнувшись с царским взглядом, отпрянули в глубину комнат, словно обожженные.

– Будет нам потеха, Иван Васильевич, гости мы здесь желанные, – заметил девиц и Малюта Скуратов.

Опришники веселым хохотом встречали шутки государя и готовились продолжить прерванное веселье.

– Постучитесь, господа, малость в двери, может, хозяева нас не слышат?

На крыльцо, толкая друг друга, взбежали опришники. Дубовая дверь треснула, а потом огромная щепка отделилась от косяка и, уже не способная сопротивляться натиску дюжих плеч, с грохотом опрокинулась на пол. Опришники ворвались в комнату, словно большой ураган, – снесли на своем пути тяжелый поставец, растоптали подставку для витых свеч и, распиная встречавшиеся на пути табуреты, бросились в сенную комнату.

В верхних подклетьях раздался отчаянный девичий визг. Бабы в суматохе бегали по комнатам, а Иван Васильевич, наслаждаясь паникой, не спеша шел по проходу, время от времени опуская тяжелый посох на спины и плечи встречающейся челяди, и громко хохотал, если удар приходился по самому темечку.

– Наталью, господа, ищите! – кричал государь. – Красу мою ненаглядную. Дочка у дьяка Висковатого – девица красы неписаной, а остальных девок я вам оставляю.

Опришники разбежались по хоромам. Повсюду был слышен тяжелый топот.

– Государь-батюшка, везде опускались. Ни жены Висковатого, ни дочери его нет!

– Ищите, братия! Здесь она! Кто первым отыщет изменниц, тот получит ковш из царских рук.

Испить ковш, принятый из царских рук, было почетным вознаграждением. Редко кто даже из ближних бояр удостоивался подобной чести, а тут государь дворян обещал приветить. Опришники удвоили свои старания. Скоро появился запыхавшийся Малюта:

– Отыскивали женушку Висковатого. Только сказывается больной. Даже с постели подняться не пожелала.

– Вот я сейчас и справлюсь о ее дорогом здоровье. Жаль, лекаря немецкого не прихватил с собой. Но разве мог я подумать о том, что женушка Ивана Михайловича захворает? Ведь так кругла была!

Государь быстро шел по коридору в сопровождении опришников. Отроки окружили самодержца плотным кольцом – эдакая черная стена, которую не прошибить даже пушечными ядрами.

Дворец все более наполнялся женским визгом, напоминая скоморошный балаган. Трепала ткань, слышались грубые окрики, а прямо перед государем в комнату метнулась девка в одной сорочке, за которой разгоряченными рысиками бежали два дюжих опришника. Иван Васильевич любовно посматривал на своих дружинников, которые словно похотливые жеребцы забрели в стойла к кобылам.

Малюта распахнул перед самодержцем дверь, и Иван ступил в комнату. Через заштопанные окна слабо пробивался свет, в горнице царил полумрак; в дальнем углу стояла высокая кровать, на которой под толстым одеялом лежала Евдокия Висковатая.

– Вот и душегуб мой явился... Сначала мужа моего порешил, а теперь и по мою душу пришел, – слабым голосом произнесла женщина.

– Что ты ропщешь, баба! Царь перед тобой! – пытался усмирить женщину Малюта.

– Дьявол это, а не царь!

– Остра ты на язык, Евдокия, только твоя душа мне не нужна. Ты и так скоро преставишься.

– Зачем явился?!

– За казной я своей пришел, что твой муженек у меня пограбил.

Евдокия и вправду была худа. Лицо пожухлое и желтое, словно осенний лист. Некогда полные щеки изрезаны тоненькими морщинами, через которые испарялась недавняя свежесть.

Губы мумии слегка дрогнули:

– Поищи... может, найдешь.

– Где казна?.. Где, спрашиваю?!

Евдокия молчала.

– Разговаривать не желаешь... Пусть плетъ испробует, – распорядился Иван Васильевич, – и стегать до тех пор, пока не укажет, где казну укрыв ее муженек.

Опришники попеременно пороли Евдокию – в ответ ни вздоха, ни стола, будто удары приходились не по телесам, высушенным долгой болезнью, а по вязанке хвороста.

– Чур тебя! – охнул царь. – Баба-то мертва! Ну и ладно... Красавица Наталья нам про сокровища поведает.

Когда царь явился в комнату, Наталья сидела в окружении девок. Спокойная. Красивая.

Одна из девиц уже успела сбегать к матушке и с ужасом пересказывала то, что увидела: двое опришников лупили хозяйку плетьюми, а потом один из них набросил сердешной на лицо одеяло и объявил, что Евдокия преставилась.

Наталья знала, что следующей должна быть она.

Девицы, едва приметив Ивана, разбежались перепуганными мышами, а царь холерным черным котом приблизился к неподвижной Наталье и спросил:

– Ждала ли ты меня, девица? Ожидала ли ты меня, красавица? Вот я и явился, государь твой!

Наталья поднялась со стула, прошла через комнату и почти вплотную приблизилась к царю. Роста девица была высокого, кокошник оказался вровень с государевой шапкой. Иван Васильевич терпеливо ждал: вот сейчас прогнется девица большим поклоном, легкая рука коснется пола и под жадные взоры опришников Наталья выставит свой гибкий стан.

– Будь же ты проклят, царь-батюшка! – выкрикнула Наталья Ивановна и что есть силы ткнула кулаком в лицо царю.

Иван Васильевич спокойно выдержал взгляд злобных глаз, потом притронулся ладонью к рассеченной губе.

Опришники стояли словно заколдованные. Даже редкая краса девицы не сумела так подивить, как ее отчаянный поступок.

Смахнул кровь с губ государь, потом неторопливо отер ладонь о кафтан.

– Выбирай, девка, какой смертью помереть желаешь? Может, тебе голову отрубить сразу, чтобы долго не мучилась? – Наталья молчала. – А может быть, четвертовать тебя? – По-прежнему тишина. – Не смущайся, выбирай любую казнь, Никитка-палач с радостью такой красе послужит. А может, ты желаешь, чтобы тебя подвесили к перекладине за ноги? Что-то ты совсем растерялась. А я-то думал, что ты девка боевая! – По острому подбородку Ивана Васильевича тонкой струйкой стекала кровь. Она приковала взгляды всех опришников, и они смотрели на ранку с таким чувством, как будто через нее вытекала жизнь государя. Иван Васильевич мазнул ладонью по лицу, и кровь осталась на щеке зловещим красным следом, придав лицу злодейское выражение. – Растерялась, краса, выбрать не можешь? Что ж, я тебя понимаю, Наталья, выбор и вправду очень велик. А знаешь, я тебе помогу, сам для тебя казнь придумаю... Ты ведь девица? Если я повелю казнить тебя сразу, так ты помрешь и сладости никогда не почувствуешь. Обидно! Вот что я сделаю... Эй, молодцы, потешьте девицу. Сил своих не жалейте, чтобы и на том свете Наталье Ивановне щекотно было! – весело распорядился государь. – Мне и самому интересно знать, сколько зараз девица способна молодцов выдюжить. Эх, завидую я вам, такая веселая потеха впереди! А чтобы остальным скучно не было, приголубьте тех девиц, что по углам да за шторами прячутся. А я на вас посмотреть хочу.

Отроки в великом хотении похватили девок и, стараясь развеселить государя, срывали с них тонкие сорочки и брали тотчас силком.

Наталья сопротивлялась яростно: кромсала ногтями лица мучителям, кричала, звала на помощь. Но ее вопль вызывал только дружный смех.

Глава 5

Царь совсем отдалил Марию Темрюковну от дворца. Теперь он держал ее на одной из дальних дач под присмотром опришников. Молодцы следовали за государыней даже тогда, когда Мария желала прогуляться по лесу, и терпеливо дожидались под кустом, если у царицы случалась нужда.

Лишенная привычных страстей, Мария Темрюковна стала понемногу высыхать и очень скоро, через месяц вынужденного постничества, стала напоминать старуху. Кожа на ее лице потемнела и по цвету напоминала коренья. Еще недавно красивые руки украшали браслеты и кольца, теперь они были голыми и потому казались безжизненными. Царь отобрал у нее последние драгоценности. Суставы на ладонях вздулись, будто кто-то специально завязал ее красивые пальцы в большие узлы.

Растеряла свою красоту царица и напоминала облинявшую лису, у которой во все стороны торчала слежавшаяся поседевшая шерсть.

Трудно теперь было поверить, что еще месяц назад ступала государыня не по земле, а по коврам, которые стелили перед ней покорные холопы, что шею ее украшали ожерелья из бриллиантов, а на плечах была соболиная накидка.

Если что и осталось в Марии от прежней государыни, так это ее страсть, которая была все такой же обжигающей, как огонь: кажется, дотронешься до одеяния царицы – и опалишься до волдырей. Мария Темрюковна ласкалась к молодым отрокам, стоящим в карауле, обещала наградить такими ласками, о которых те и не ведают. Но отроки оказались строги и на приставания царицы отвечали отказом:

– Не велено, ежели кто узнает, тогда нам государь головы поотворачивает!

Отроки не лукавили.

Месяц назад царице уступил высокий светловолосый караульщик. Брал детина царицу в маленькой каморке, которая была одновременно и девичьей, и спальней государыни. Девки в это время испуганно жались к стене, стараясь не смотреть на Марию Темрюковну, а государыня, думая, что находится в раю, переполошила криками весь дворец. Именно эти счастливые стоны услышал проходивший мимо Малюта Скуратов, а уже следующего дня о маленьком приключении государыни узнал сам Иван. Вздохнул самодержец, позлословил немного и повелел дерзкому отроку отрубить голову.

Государыню стерегли строго, а когда она приближалась к караульщикам, то дружинники отскакивали от Марии, как от верной язвы.

– Уйди, окаянная!

Месяц еще промаялась государыня, а потом зачахла, словно осенний куст, и скончалась в один из сентябрьских дней.

Часть третья

Глава 1

О жене Иван Васильевич не тужил. По обычаю раздал пятаки на Красной площади, для приличия постоял у могилы с понурой головой и вернулся во дворец.

Неделю государь не появлялся на людях, и москвичи решили, что свое горе Иван переживает в одиночестве. Если и посетила печаль государя, то ненадолго, прошла, подобно тому, как сходят струпья со старой раны, оставляя взамен затянувшийся шелушащийся рубец.

Государь во всеуслышание заявил, что вдовствовать более не желает, а потому пришло время присматривать невесту.

Земские бояре новость встретили с ликованием, зная о том, что на овдовевшего царя вовсе не будет удержу. Опришники втихомолку хихикали, понимая, что если с царем не совладала Мария, то остальным девицам это будет совсем не под силу. Бояре не однажды вздыхали об усопшей Анастасии Романовне, которая своей кротостью могла унять самый страшный государев гнев; своим смирением она была куда сильнее государева неистовства. Не найти теперь такой боярышни во всей Руси, что могла бы негромким словом вырвать из рук государя занесенный над невинной головой посох. Заступницей слыла царица, а силы в ее покорности столько было, что царская немилость ломалась хрупким кнутовищем о женину ласку.

Иван Васильевич решил не полагаться на смотр невест и в сопровождении большого отряда опришников объезжал окрестности.

Наведывался он, как правило, на боярские дачи неожиданно. Своим появлением поднимал невообразимый переполох, стегал почем зря перепуганную челядь и требовал выставить перед царскими очами всех девиц, приказчики расторопно выполняли распоряжение государя, носились по хоромам так, как будто бежали от пожара; поторапливали и прихорашивали девиц, поправляли на них душегрейки и сарафаны. Хозяин стелился перед самодержцем тканым ковром и заглядывал в глаза Ивану так, как будто вместо удара палкой получал от высочайшей милости горсть золотых монет.

Девиц выстраивали в ряд, и Иван Васильевич не спеша переходил от одной красавицы к другой, устраивая строгий смотр. Для каждой девицы государь находил такие слова, каких им не шептали даже парни на сеновалах. Девицы млели только от одного присутствия царя.

Эти смотрины, как правило, продолжались недолго, потом царь выбирал самую красивую девку и спрашивал:

– Будешь любить своего государя?

– Как же не полюбить такого красного молодца? – иной раз игриво отзывалась молодуха, предвкушая шальную и полную утех ночь с самим царем.

Девицы не желали замечать того, что Иван Васильевич был далеко не юн, несколько сутуловат, они жались к нему так же беззастенчиво, как гуляющие бабы льнут на базарах к богатому купцу, добиваясь его расположения. Полюбит их ухарь-удалец – и засыплет серебряными пятаками.

– Хозяин, вот эту девку я выбираю, – торжественно объявлял Иван Васильевич.

И попробуй боярин обмолвись о том, что приглянувшаяся девица – его дочь!

– А вы, молодцы, чего застыли? Или мы здесь не гости?! Для гостей все самое лучшее. Разбирайте девок да волоките их по комнатам, – уверенно распоряжался Иван Васильевич. – А потом поделимся, у кого девка самой жаркой была!

Иван Васильевич удалялся с боярышней в постельную комнату, а утром выходил, объявляя во всеуслышание:

– Грешен я, девицей оказалась. Но ничего! Мы ее и так замуж определим. Еще ее муженек хвастать будет, что его суженая под царем была. А от такого почета ни один боярин не откажется.

Опришники только и дожидались государева распоряжения, когда можно будет похватать ядреных молодух и разбежаться с ними по подклетьям огромного дома. Одеты все как один в черные кафтаны, опришники напоминали ястребов, сорвавшихся с небес, – подхватили девиц под руки, словно цыплят, и, не обращая внимания на отчаянные визги, поспешили в комнаты.

Боярам ничего не оставалось, как смириться с беспокойными гостями. Главное, чтобы родовое гнездо не пограбили, а потому строго наказывали дворовым девкам: в неприступность не играть и сдаваться на милость опришникам по первому же требованию.

Никто не желал разделить участь князя Мосальского, который посмел воспротивиться бесчестью и был отправлен Малютой Скуратовым на Пытошный двор.

Опришники жили у «гостеприимного» хозяина до тех пор, пока не выпивали все запасы вина, не съедали все припасы, заготовленные на год, и пока не была растлена последняя девица. После чего государь благодарно хлопал по плечу «доброго хозяина» и уезжал смотреть следующих «невест».

Казалось, Иван Васильевич задался себе целью перепортить всех девиц своего царства. Уже невозможно было отыскать в Московии имения, куда бы не заглянул царь.

Особенно нравились государю северные волости, где девки были на редкость хороши: высокие, как тополя, все как одна грудастые, с кожей, по цвету напоминающей пшеничное тесто. Накушаться такого хлебушка до живота, а потом более на ржаное не потянет.

Если кто и докучал Ивану Васильевичу в первые дни вдовства, так это Малюта Скуратов, который не уставал нашептывать о «крамоле», повторял, что главные мятежники притворились ягнятами, иные вползли в государя ядовитыми аспидами и ждут часа, чтобы отравить его сильное тело; их лстивые слова, словно путы, стянули государя по рукам и ногам, и что будто бы настало время для того, чтобы отринуть от себя вредных льстецов и сбросить с ног тяжелые колодки.

Иван Васильевич и вправду был сердит на любимцев. Держал их подальше от себя, не привечал, как прежде, а во время выездов по вотчинам наказывал им следовать в хвосте поезда.

Вяземский и Басманов, видно, предчувствуя скорую опалу, старались держаться друг подле друга и подолгу вели разговор о худом житии. Кому, как не царским любимцам, было известно, как Иван Васильевич поступает с мятежниками, и только немногие спаслись от государева гнева, спрятавшись в соседней Польше.

Уединение государевых любимцев не могло остаться незамеченным, и Малюта Скуратов, сведя брови к широкой переносице, зло нашептывал Ивану Васильевичу:

– Государь, доверчив ты очень, словно дите малое. Не верь изменникам и лиходеям, накажи Федьку Басманова и Афоньку Вяземского! Я и раньше тебе говорил, что крамольники они. А ты слаб сердцем, все жалеешь их. Плаха по ним плачет и топор Никитки-палача. Изменить они тебе, государь, хотят, все промеж собой шепчутся о том, как к Сигизмунду перебежать и тебе вред нанести. Польский король умеет пригревать опальных бояр, землицы им дает.

– Верить трудно, Малюта.

– Как же не поверить, государь?! Мои люди передают, что шепчутся они, сторону земских бояр принять хотят.

– Далее говори.

– Внушают всем, якобы оприщина уже не нужна. Не время, дескать, искать врагов в собственном доме. Говорят, что с латинянами нужно посчитаться за прежние обиды да с крымскими татарами за бесчестие.

Государь особенно болезненно принимал хулу на опришнину, Малюта знал это. Даже послам своим наказывал, что следовало в чужие земли, лишнего не говорить, а если будут вельможи-короли допытываться, отвечать достойно: «Была земля русская единой, неделимой, будет и во веки вечные!» Бароны отличались редкой приставучестью, их совсем не удовлетворяли односложные ответы послов, и они, проявляя удивительную осведомленность в политике Русского государства, заявляли:

– А разве Иван Васильевич не создал свой личный орден, с помощью которого он вытраивает крамолу?

– Такого ордена нет... и быть не может, – обычно отвечали послы. – А если и казнит кого государь, так это за измену.

Самое печальное было в том, что сейчас в целесообразности оприщины стали сомневаться даже самые ближние, и ведь именно князь Вяземский когда-то предложил Ивану создать дружину, которая сумела бы грызть врагов подобно злобным собакам, именно на нее воздавалась обязанность выметать смуту из отчины погаными метлами.

Малюта Скуратов сумел подтолкнуть обоих бояр на плаху. Совсем скоро Никитка-палач выдернет из дубовой колоды пудовый топор и примерит его к шее опальных вельмож.

– Так... что еще доносят твои шептуны? – не сразу отозвался государь.

– Князь Вяземский всякому жалится, что наказываешь ты не только неправых, что под топором Никитки-палача сгинуло много достойных мужей. Еще мне про одну великую измену поведали, – неожиданно Малюта умолк.

– Рассказывай.

– Ты вот, государь, тайно хотел в Великий Новгород прийти?

– Так.

– А только от своих новгородских людей я узнал, что архиерей Пимен ведал о том заранее... знал, что ты идешь наказывать строптивцев за измену.

– Откуда он мог знать? – все более мрачнел государь.

– Письмо о твоём походе на Новгород написали архиерею Вяземский Афонька и Федька Басманов.

– Вот оно что! Ведомо ли тебе о том, что в грамоте было?

– Ведомо, Иван Васильевич. Крамольники писали о том, чтобы архиерей поберег себя. А если это возможно, то съехал бы и подальше куда-нибудь на север русских земель.

– Кто сказал тебе про письмо? – все еще не желал верить в измену государь.

– Дьяк, что при Пимене служил, – невозмутимо отвечал Скуратов-Бельский.

Письмо к архиерею такого содержания действительно пришло, но людей, которые его писали, Григорий Бельский так и не сумел доискаться и, подумав, решил подкупить архиерейского дьяка, который согласился бы свидетельствовать против могучих царских любимцев.

– Вот оно что! В Пытошную мерзавцев!

– Слушаюсь, государь, – с трудом скрывал ликование Григорий Бельский.

Глава 2

Давно Пытошный двор забыл про таких именитых гостей.

Еще месяц назад князь Афанасий Вяземский входил через ворота Пытошной избы хозяином. Снимал со стены плеть о двенадцати хвостах и карал ею непокорных.

Разве мог он предположить о том, что когда-нибудь сам будет висеть на дыбе с вывороченными руками под самым потолком и корчиться от боли.

Малюта Скуратов терпеливо вопрошал, задрав голову:

– Афанасий, будь добр, Расскажи мне по давней дружбе. Что ты за зло такое надумал супротив своего господина и государя?

– Григорий Лукьянович, родимый мой, да разве я бы посмел!

Пытошная изба именно то место, где можно расспросить про царицыну любовь.

– Ты вот признайся мне, Афанасий, чем таким царицу сумел приворожить?

– Царица, Григорий Лукьянович, и на тебя западала, – и даже через болезненную гримасу Малюта сумел рассмотреть усмешку князя, – уж не ревнуешь ли ты меня к Марии Темрюковне? А баба она шибко горячая была, когда я от нее уходил, у меня между ног костер горел.

– Дать мерзавцу пятьдесят плетей! – перекосясь от бешенства рот Малюты.

– Не выдержит он, Григорий Лукьянович, помрет... и так плох.

– Если силы на царицу хватало, так должно хватить и на то, чтобы плеть выдержать.

А Вяземский Афанасий продолжал злословить:

– Знаешь, Григорий, что о тебе царица Мария говаривала?... Будто ты на перине так же неловок, как баба на поле брани. Ха-ха-ха!

Первый удар пришелся поперек спины, а двенадцать гибких концов, словно тела змей, обвили шею и руки князя. Афанасий даже не вскрикнул, только булькнуло что-то внутри, словно испил князь водицы, да захлебнулся. Второй удар угодил по плечам, а «змеи» ужалили грудь, плечи, лицо. Никита-палач лупцевал размеренно. Не было у него злобы к Афанасию Вяземскому. Он даже благоволил к князю, который отличался от всех растолстевших бояр крепостью и статностью. Про боярина ходило немало слухов, самый громкий из которых – прелюбодейство с царицей. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, Мария Темрюковна не могла не обратить на такого молодца внимания. Афанасий был красив, и даже тридцатилетний возраст не сумел испортить юношеской кожи. Лицо его по-прежнему было свежим и краснощеким, а сам он напоминал спелую репку – крепкую, без всякой червоточинки, и, наверное, каждой девке хотелось вонзить в нее свои остренькие зубы, чтобы отведать на вкус.

А сейчас искромсанное тело Афанасия Ивановича содрогалось под ударами бича, словно князя мучила икота. Водицы бы испить, утолить жажду.

Малюта Скуратов стоял в стороне и монотонно считал:

– ...Девятнадцать... двадцать восемь... тридцать пять ударов...

– Уже не дышит, Григорий Лукьянович, – смахивал со лба пот Никитушка.

– А ты знай маши, – не давал передохнуть палачу Малюта Скуратов и неторопливо продолжал счет: – Тридцать шесть... Сильнее, Никита, али обессилел совсем? Тридцать восемь...

Он и сам видел, что Афанасий Вяземский перестал замечать боль. Верный признак того, что душа успела отлететь и, видимо, с усмешкой уже наблюдает за стараниями Никитки-палача. Но останавливать казнь Скуратов не желал.

А когда палач откинул в угол тяжелую плетъ и тяжело вздохнул, Малюта приблизился к Афанасию Вяземскому. Глаза боярина были слегка приоткрыты, и он продолжал лукаво щуриться на думного дворянина.

Малюта крепко взял в пальцы волосы князя и объявил в самое лицо:

– Занимательный у нас разговор мог бы получиться, Афанасий Иванович... если бы ты не помер.

Следующим бал Басманов.

Между Федором Басмановым и Малютой Скуратовым была давняя вражда. Басманов всегда кичился своими древними корнями и не упускал случая, чтобы наказать худородного царского любимца обидным словом.

Малюта подумал со злорадством о том, что пришло время поквитаться.

Месть не будет мгновенной. Он будет тешиться ею долго, смаковать каждый ее глоток, как сладкое рейнское вино. Для начала Малюта повелел поместить Федора Басманова в темницу с тремя дюжинами татей, которые, узнав в узнике бывшего государева любимца, тузили его так, что плетъ палача показалась ему едва ли не лаской любимой.

Федор Басманов вступил в первый круг ада.

С боярина сорвали шапку, сняли кафтан, Федор стыдливо прикрывал руками свое голое тело. Теперь Басманов понимал, что пострашнее карающих палок палача будут скалящиеся образины убийцев. Федор Басманов кликал Малюту, пытался задобрить обещаниями караульщика и сулил ему много злата, но в ответ раздавалось только злое хихиканье или грубый ответ:

– Не полагается! Не так ты нынче велик, боярин, чтобы из-за тебя Григория Лукьяновича беспокоить. Если потребуется, так он сам тебя к себе призовет. А сейчас весели разбойничков. Они уже который год здесь сидят и новым людям всегда рады. Попотешь их, расскажи душегубцам, как ты в Боярской думе вместе с царем заседал.

Каждое слово Федора Басманова тати встречали таким приступом радости, как будто слушали бродячего скомороха, и, глядя на развеселившихся разбойничков, можно было не сомневаться в том, что время, проведенное в темнице, – это лучшее, что было в их жизни. Они позабыли о том, что сидят в затхлой тесноте, не помнили о былых прегрешениях и старательно выполняли роль благодарной публики: хлопали в ладоши, в отчаянном ликовании брэнчали цепями и требовали, чтобы Федор Басманов рассказал еще что-нибудь позанятнее.

Вызов к Скуратову-Бельскому Федор Басманов воспринял как освобождение: боярин грозил татам кулаками, проклинал тюремщиков, обещался, что растопчет это гноище, ответом ему был дружный и громкий смех. Тати были уверены, что представление не закончено, и с нетерпением ожидали продолжения.

Караульщики отвели Федора Басманова в сени. Они были нарядны и чисты. Здесь, кроме государя, новые его любимцы: Гришка Грязной, Никитка Мелентьев, Петр Васильчиков. По правую сторону от государя сидел шестнадцатилетний отрок. Это был старший сын самодержца – великий князь Иван Иванович. Орлиным ликом и широкой статью царевич походил на отца, казалось, он унаследовал даже батькин характер: был так же вспыльчив, и многие из бояр уже успели ощутить на своих плечах тяжесть его трости. Среди девок царевич прослыл большим пакостником и разбойником. Они испуганными цыплятами, на потеху всей челяди, бегали по двору, когда царевич выходил из дворца. Не ведая стеснения, он мог запустить понравившейся девице руку под сарафан, шлепнуть бабу по рыхлому задку ладонью, а то и вовсе затащить в подклеть какую-нибудь мастерицу. В свои шестнадцать лет царевич набрался столько силы, что в удали превосходил даже великовозрастных верзил и, потешая себя и отца-государя, дрался со многими отроками на кулачных поединках.

– Слышал я, Федор, что ты потешаешь моих татей, – заговорил государь, когда холоп распрямился. – Караульщики рассказывают, что будто бы тюремные сидельцы лет десять так не смеялись. Правду я говорю, Малюта?

– Правду, Иван Васильевич, – смиренно отвечал холоп, – все животы от смеха надорвали.

– Эх, жаль, не разглядел я в тебе шута! – серьезно пожалел Иван Васильевич, хлопнув себя по бокам. – А то повеселил бы своего государя. Мои-то скоморохи страсть как накутили! Подустал я от их шуток, только и знают, что друг дружке подзатыльники давать... А тебе, боярин, шутовской колпак пришлось бы в самую пору. Что же ты им такое рассказывал? Поведай. Караульщики глаголили, что от смеха стены едва не рушились. Жаль мне, Федор, что приходится с тобой расставаться. Как тебя в темнице заперли, так мне стало не хватать тебя, – разоткровенничался государь, печально вздыхая. – Теперь ответь мне, Федор, почему ты предал своего государя? Может, я был несправедлив к тебе? Или, может быть, ты лаской был обделен царской?

– Государь, ты мне дороже, чем отец с матерью. Если я и виноват в чем, так только в том, что доверял лукавым людям, которые приворожили тебя и сумели оговорить верного твоего холопа.

– Вот как?! А не ты ли сносился с мятежным архиереем Пименом и желал мне лиха?! – грозно вопрошал Иван Васильевич бывшего любимца.

– Государь, разве...

– Не ты ли, холоп, учинил измену во дворце и хотел лишить меня живота?!

– Государь...

– Не ты ли, пес, прикрываясь царским именем, залезал в казну мою?!

– Государь, поверь мне, оговорили твоего верного холопа лихие люди, – не желал сдаваться Федор Басманов.

Помолчал государь, а потом, сцепив пальцы ладоней в крепкий замок, продолжил:

– Вот что, холоп. Ты говоришь, что дорожишь своим государем больше, чем отцом с матерью?.. Докажи это! А заодно и потешишь своего государя, посмотрю, каков ты шут. Если развеселишь... будешь при мне, как и прежде, ближним боярином. Эй, Малюта, дай Федору Алексеевичу свой кинжал, пускай докажет верность своему государю.

– Что я должен исполнить, Иван Васильевич?

– Немного. Отца своего убей!

– Государь?! Как можно?! – в страхе отпрянул Федор от протянутого кинжала.

– Где же твоя верность, боярин? Противишься! Не хочешь наказать крамольника, которой смерти моей желал!

Расцепились пальцы государя, видно, для того, чтобы собственноручно придушить непокорного холопа.

Алексей Данилович не видел государя уже три недели.

Опалился за что-то на Басмановых Иван Васильевич: младшего в темнице томил, а старшего повелел выставлять со двора, как явится. Трижды Алексей Басманов приходил к государеву дворцу на Петровке, и всякий раз опришники гнали его взашей.

Болела у Алексея душа за сына. Немногие из оставшихся друзей поведали Басманову-старшему, что вырвал Малюта Скуратов у Федьки суставы на Пытошном дворе и определил в темницу сидеть вместе с душегубцами.

Алексей Басманов уже совсем отчаялся, не ведая, как помочь сыну, когда вдруг прибыл царский скороход.

– Собирайся, Алексей Данилович, – объявил гонец с порога. – Государь всея Руси тебя видеть желает. А еще повелел сказать Иван Васильевич, что сына своего ты увидать сможешь.

– Федьку?! – едва не задохнулся от новости боярин.

Скороход заприметил в сених жбан с квасом, охотно утопил в него уточку-ковш и, задрав подбородок, долго пил кислый напиток.

– Его самого, – наконец утолив жажду, скороход аккуратно повесил ковшик на гвоздь. – Из темницы Федьку должны привести.

– Может, отобедать хочешь? – засуетился Басманов-старший.

– Некогда мне, – отвечал гонец и заторопился к выходу.

Алексей Басманов сидел в Сенных палатах вместе со всеми боярами. За последние три года свита государя пополнилась многими безродными, и теперь любимцы самодержца сживали вместе с именитыми столь уверенно, как будто их род уже не одно поколение служит в московском дворе. Задумавшись, он даже не сразу заметил, как в сопровождении двух караульщиков в сени явился Федор. Екнуло от жалости отцовское сердце: исхудал детина, одни глаза только и остались; невообразимо длинными казались его руки, которые метлами волочились по полу.

Алексей Басманов даже не вслушивался в беседу государя с сыном. Все его существо представляло из себя единый нерв. Отцовская жалость была так велика, что грозилась прорваться наружу рыданием. Басманову-старшему стоило огромного усилия заставить себя услышать разговор.

Алексей Данилович содрогнулся, когда царь упомянул его имя.

– Что же ты, сынок, не берешь кинжал? – попросил Алексей. – Возьми!

– Нет!

– Возьми кинжал, сынок.

Федор Басманов осторожно потянулся к холеной рукояти, а ощутив прохладу клинка, отдернул ладонь, как будто натолкнулся на что-то горячее.

– Возьми! – приказал государь.

– Нет!

Алексей Данилович видел, как сын отпрянул от протянутой руки, словно Малюта в ладони сжимал не дамаский клинок, а ядовитую гадину с разинутой пастью.

Государь терпеливо настаивал:

– Клялся мне в верности, живот свой хотел положить, а такую малость сделать для своего государя не способен. Видно, правду мне доносили, что ты с отцом своим жизни меня лишить хотел. Докажи свою верность, накажи изменника!

– Что же ты, сынок, молчишь? Отруби эти руки, которые пестовали и кормили тебя. Может, это у тебя получится лучше, чем у Никитки-палача? – горевал Алексей Данилович.

– Отец...

Двое Басмановых стояли друг против друга, и Федор казался неудачной копией Алексея Даниловича. Басманов-старший был красив, даже возраст не сумел отобрать у боярина его суровой привлекательности: румян, словно девка, русые волосы густы, словно у юноши, только в курчавую бороду закралась снежная прядь.

– Коли, сынок. Чего же ты застыл? Я сейчас и кафтан расстегну, чтобы тебе сподручней было, – руки Алексея Басманова поднялись к вороту.

– Прости меня, отец!

Федор Басманов вырвал у Малюты из рук нож и воткнул его отцу в грудь.

– Дурень ты, – только и сумел произнести старший Басманов, пытаясь выдернуть застрявший кинжал.

– Господи...

– Испоганил себя отцеубивством, – едва слышно шептал Алексей Данилович.

Кровь испачкала золотой кафтан, а потом через сжатые пальцы просочилась тоненькая струйка и закапала на серый мрамор. Рухнул Алексей Басманов, обрызнув кровавыми каплями стоявших рядом опришников.

– Уберите боярина, – распорядился Иван Васильевич. – Страсть как боюсь мертвецов. Бездыханное тело Басманова взяли за руки и выволокли за порог.

– Распотешил ты меня, Федька, так распотешил. Ну чем не шут! Неспроста над тобой тюремные сидельцы надсмехались!

– Чем же я тебя рассмешил, государь?

Иван Васильевич мгновенно оборвал жуткий смех.

– Если ты своего отца не захотел пожалеть, так до своего государя тебе, видно, вообще дела нет! Малюта!

– Здесь я, государь, – предстал перед самодержцем думный дворянин.

– Отведи Федора в темницу и отверни там ему шею.

– Как же это так, государь?! В чем повинен?! – вымаливал прощение на коленях Федор. – Неужно ты все позабыл? Неужели смерти решил предать?!

Государь поднялся с трона и, поддерживаемый опришниками, приблизился к Федору. По Москве ходила молва о том, что царь Иван со своим кравчим куда ближе, чем иной супруг с милой женушкой.

Жесткая государева ладонь опустилась на макушку Басманова.

– Не забыл я, Феденька. Ничего не позабыл.

Государева ласка иссушила пролитые слезы.

– Так, значит, простил, государь? – с надеждой вопрошал Басманов.

– Не могу я, Феденька, по-иному все складывается. Малюта!

– Здесь я, государь.

– Ты что это, холоп? Приказа царского не слушал?! – расвирепел Иван.

– Хватай изменника! – выкрикнул Скуратов-Бельский опришникам. – Чтобы в государевых покоях не оставалось духа его смердячего!

Навалились молодцы на плечи Федору Басманову и выволокли его вон из сеней.

Глава 3

Иван Васильевич становился все более смурным. Даже самые ближние из бояр не спешили показываться ему на глаза. Государь никогда не расставался с посохом, а свое неудовольствие выражал тем, что колотил металлическим наконечником по спинам нерадивых. Бил Иван до тех пор, пока не уставал или не слышал мольбу о пощаде. Особую радость государю доставляли вопли, и, зная об этом, вельможи при каждом ударе начинали кричать в голос. Именно поэтому дворец частенько оглашался воплями, какие можно было услышать только на Пытошном дворе.

Иван Васильевич не знал удержу ни в чем: если был пир – то уж такого размаха, что перепивалась половина столицы; если молился, то до ломоты в пояснице и до кровоподтеков на лбу; если на кого серчал, то государева немилость не обходилась легким помахиванием перста перед носом ослушавшегося – царь велел сажать в темницы, а то и вовсе лишал живота.

Так же безудержно Иван Васильевич любил.

Государь одаривал любимцев такими милостями, что, глядя на богатые дары, можно было подумать, будто бы он решил разорить собственное царство. Сейчас царская благодать обрушилась на думного дворянина Скуратова-Бельского. Отныне царский любимец не признавал кунных шуб, а появлялся только в соболиной и волчьей обнове. Думный дворянин носил на голове шапку такой величины, что своей высотой она напоминала сторожевую башню. Своим величием Малюта превзошел даже бояр, и теперь не всякому из них он отдавал поклон. На трех пальцах Григория Лукьяновича были перстни с бриллиантами, каждый из которых был величиной с грецкий орех. Кафтан дворянина был вышит золотыми нитями и убранством мог потягаться даже с царским платьем.

Теперь Малюта оставался один: оттеснив от самодержца всех прежних любимцев, он зорко посматривал по сторонам, пресекая всякие попытки молодых дворян попасть на глаза к государю.

Иван Васильевич часто коротал с Малютой времечко в беседах. С любимцем государь частенько бывал красноречив и говорил о том, чего никогда не осмелился бы произнести в присутствии бояр:

– Все меня предали, Гришенька. Все до единого! Ты же знаешь, как я благоволил к Вяземскому и Басманову, а те тоже к земщине переметнулись. Один я теперь остался... Нет, ты еще, Гришенька, у меня есть. А ты-то меня не предашь?! – крепко хватался Иван Васильевич за широкое запястье любимца.

На большом пальце государя был перстень с огромным изумрудом, и острая грань, словно острие копья, крепко врезалась в руку Григорию Лукьяновичу.

– Да как я могу, государь?! Упаси меня бог! После всего того, что ты для меня сделал! Да я лучше в омут с головой!

– Многие холопы так говаривали, Гришенька, – спокойно замечал царь, поправляя перстенок, – однако это не помешало нечестивцам предать своего государя. В ком я был уверен, Григорий, так это в своей первой женушке... благоверной Анастасии Романовне, – торжественно крестил лоб государь. – Вот в ком святая душа была! Светлой жизнью жила, так же чисто и преставилась. А с Марией я намаялся. Извела меня черкешенка, если бы не померла, так я бы ее самолично задавил, а может быть, раньше срока сам преставился бы. Как ты думаешь, Григорий Лукьянович, может, жениться мне? Чего умолк?.. Что своему государю посоветовать можешь?

Так и подмывало Григорию Лукьяновичу ответить: «Брось ты этих баб, Иван Васильевич, живи, как душе твоей угодно будет. Себе на радость и молодцам своим на великий

праздник». Однако, подумав, догадался, чего ждет от него государь, заговорил степенно, выделяя каждое слово:

– Одному государю быть – это все равно что остаться дубу без листвы. Трон всегда детками укреплялся, так предками нашими завещано было, а тебе на них надобно равняться, Иван Васильевич.

Русский государь приводил во дворец не только супругу. Следом за царицей тянулись многочисленные родственники, которые спешили позанимать все дворцовые должности, тем самым оттесняя прежних любимцев. Кто знает, какая баба достанется государю на этот раз? Не присоветует ли она царю сослать Григория Бельского на Скотный двор надсматривать за мясниками? Каждому во дворце хотелось бы видеть при государе бабу попокладистее, не шибко знатную.

– Только ты один, Малюта, и можешь правду государю сказать. Едва успею на челядь посмотреть, как она мне в ноги бросается, словно султану какому голенища целовать готова.

– Женись, государь.

– Так скоро я ожениться не собираюсь. Поначалу невесту надобно присмотреть, а в государстве моем, слава тебе, господи, красивые девицы не перевелись. Женатым я уже дважды побывал, теперь хочу малость повдовствовать.

Малюта принялся разглядывать на безымянном пальце огромный сапфир. Это был один из первых подарков самодержца. Несколько лет назад Иван Васильевич на глазах у всей Думы отблагодарил безродного дворянина за службу – снял перстень с крючковатого пальца и передал его Григорию Лукьяновичу.

С тех самых пор Малюта Скуратов с царским подарком не расставался – это был его талисман. Иногда ему казалось, что камень продолжает хранить верность прежнему хозяину. Малюта обратил внимание на то, что сапфир меняет цвет в зависимости от настроения Ивана Васильевича: если государь был зол, то его полированная поверхность становилась темно-синей, если царь был весел – камень напоминал безоблачную высь.

Малюта с интересом наблюдал за тем, как на столе в позолоченном подсвечнике догорает витая свеча. Расплавленный воск бойко стекал в глубокую чашу, наполняя ее до самых краев. Огонь, поддаваясь легкому дыханию самодержца, без конца трепетал, пуская чад в разные стороны. Думный дворянин дожидался мгновения, когда фитиль прогорит совсем, вспыхнув на прощание темно-красным цветом. Он видел, как желтое пламя огня уже добралось до поверхности. Миг! Самоцвет сверкнул голубым цветом, и отблеск этого пожарища добрался до лукавых губ Григория Лукьяновича.

Сейчас государь пребывал в хорошем настроении.

Глава 4

Неспокойно было на южных границах державы.

Крымский хан Девлет-Гирей несносной блохой покусывал брюхо русского царства. Беспокоил порой так, что огромное тело государства содрогалось от нестерпимой боли. Станишники Украины жаловались на лиходея самодержцу, и тот обещал пособить казакам силушкой.

Однако предвидеть вылазки крымского хана было непросто.

Иван посылал письма султану, просил образумить своего нерадивого слугу Девлет-Гирея, но Сулейман Великолепный, через своего любимца посла Магмет-пашу, в оплату за оказанную милость требовал от царя вернуть Казанское и Астраханское ханства мусульманскому миру. Тогда Иван Васильевич в присутствии послов объявил, что выпорот Селим-султана отмоченными розгами, а непослушному мальчишке Девлет-Гирею надерет уши.

Ответ не заставил себя ждать: крымский хан Девлет-Гирей с тьмой-тьмущей воинов заявился в пределы московского государства, отправив вперед себя гонцов с посланием: «Я пришел, чтобы тебе сподручнее было рвать мне уши».

Девлет смерчем прошелся по окским просторам и, словно серый утренний туман, растаял неподалеку от Симонова монастыря.

Иногда татары подъезжали небольшими отрядами к Оке и, помахав бунчуками, скрывались за гибкой излучиной реки. Станишники палили из пищалей, каменные ядра чаще не достигали цели, месили в брызги серую глину на самой кромке берега; падали в воду, поднимая со дна мутный ил, и только меткий выстрел заставлял лошадей шарахнуться в сторону.

Постоят татары у негостеприимной реки Оки и повернут в сторону родных аулов.

Отдыхая от «смотрин невест», Иван Васильевич дважды заезжал на окскую землю, чтобы строгим государевым оком оглядеть южные рубежи отечества. А велика земля, нечего сказать! Такую ширь не окинуть зараз взглядом, даже если взобраться на самую высокую колокольню. Куда ни повернешь шею – всюду держава, начинается невесть откуда и в бескрайность уходит.

Государь намеревался провести у Оки с недельку, вдохнуть своим присутствием в ослабевших ратного духа да заодно отдохнуть от любовных дел.

Южные границы Руси походили на паутину, сплетенную из многих лесных завалов, засек, острогов и отдельных гарнизонов, куда, подобно мухам, попадали крымские разведчики. Повсюду в степи долговязо высились сторожевые вышки, с которых можно было заглянуть далеко в Дикое поле.

Бедово и весело жилось станишникам на московских окраинах: дня не проходило, чтобы кто-нибудь из неприятелей не потревожил вспаханную землю, которая лучше любого соглядатая могла указать, что за отряд сумел пробраться в глубину России.

Государь приехал воевать на Оку не один, а с «невестами», которые повылазили из его кареты в таком множестве, что напоминали семечки, спрятанные в чреве арбуза. Все до единой хохотушки, они веселыми козочками бегали среди станишников и как могли смягчали суровость на их лицах.

Иван Васильевич ходил с бабами в обнимку, показывал пальцами в сторону своевольного Крыма и говорил, стараясь заглянуть в глаза очередной избраннице:

– Может, мне тебя замуж отдать за Девлет-Гирея? Он светловолосых баб любит, старшей женой тебя сделает.

И, не стесняясь сотен глаз, направленных в его сторону, прижимал девицу так крепко к груди, что та задыхалась от силы царского объятия.

Было ясно, что государь приехал не воевать, а покуражиться на берегу реки. Устал он от затхлого дворцового воздуха, вот и потянуло его на простор к казачкам. На государеву забаву приезжали смотреть даже крымские татары: соберутся гурьбой на косогоре и, хохоча, тычут перстами в распотешного русского самодержца. А государь тем временем не скучал и проводил время в веселье: что ни день, так пир, что ни ночь, так новая «невеста», которых сбежалось на берег Оки в таком количестве (едва узнав, что к реке выехал сам царь), что стали напоминать бабье ополчение. Иван Васильевич обижать никого не желал, а потому набирал девок в свой шатер до целой дюжины, и всю ночь, на зависть казакам, лагерь сотрясался от государева хохота, который к утру заканчивался усердным сопением и стонами.

«Повоевав» несколько дней, Иван Васильевич пресыщался «побоищами», и его вновь тянуло в Москву. Государь едва ли не лил слезы, когда расставался со станишниками. Он признавался, что только они его опора, только казакам возможно доверять, а так, куда ни повернешь голову, – обязательно наткнешься на изменника.

Станишники сумели убедить государя, что к берегам подходило не воинство татар, а необученная группа джигитов, которым достаточно погрозить нагайкой, как они лихо разбегутся по аулам. Ивану Васильевичу следовало бы заняться делами поважнее: придавить в столице смуту да выявить изменников.

Попил Иван Васильевич напоследок наливочки, подышал малость вольным духом и повернул к Москве.

Когда государь уезжал, то слезы по нему лили все девки близлежащих деревень. Ласков оказался царь (не в пример злобной молве) и добр. А ноченьки, украденные у государя, стоили многих постных лет, проведенных в супружестве.

И все-таки татары подошли.

Было видно, что они не торопятся, терпеливо дождались, пока съедет с Оки государь.

И когда крымские татары выбежали на берег реки, казаки поняли, что дело нешуточное. Татары преодолели засеки, подобно духам, лишенным плоти, сумели воспарить над вспаханнами полосами и вот сейчас, обрета существо, предстали ангелами смерти перед удивленной заставой. Не успели запылать огнем сторожевые вышки (как это бывало ранее при появлении врага), не придут на подмогу князья, а значит, принимать станишникам неравный бой, где еще три дня назад веселился вдовый царь.

Татары вышли на берег реки всей тьмой, словно хотели испугать множеством небольшую дружину, но на лицах отроков сумели разглядеть только удивление – э-ко, как рано умирать приходится!

Многие татары были без брони и без щитов, в руках нагайки. Именно они пойдут в бой первыми, крепко уверовав в свою неуязвимость, а следом за пешими, воодушевленные чужим бесстрашием, потянутся и другие, и сметет орущая тьма не только пограничный отряд, оставленный в Диком поле, но и множество деревень, в которых осталось полным-полно «царских невест».

Девлет-Гирей ведал, куда шел.

Осторожности ради старался передвигаться ночью, как это делает хищник, выискивая затравленного зверя. Свою тьму он вел по лощинам и глубоким оврагам, а если кто и встречался на его пути, так это дикая тварь, желающая уединения.

Возможно, хан повременил бы с походом на Русь, если бы не перебежчики из пограничного города Белева, которые, видимо, затаили на русского государя обиду за нанесенные увечья, а потому жаждали немедленного отмщения. Один из отроков был боярским сыном, ему, уличенному в воровстве, палач отрубил руку; другой – станишник, проиграв божий суд, был лишен за неправду глаза.

Оба они божились в том, что государь слаб, как никогда, дела московские забросил совсем, что помешался он на выборе невест, а потому разъезжает по всей Руси с опишной

армадой и подбирает себе женушку. Но далее смотрин дело у царя не заходит, выбирает девку покраще и тащит к себе в избу, а отца за пользование дочерью рублем серебряным одаривает.

Беглецы говорили о том, что прошлый год был совсем худой – начался с того, что ураган переломал кресты на московских соборах, а закончился он большим мором во всех городах, что царь в опале побил многих воинских людей, а кто остался, те воюют в немецкой земле, а случись крымская гроза, не обернуться дружинам на русскую землю даже за три месяца.

Девлет-Гирей повелел на всякий случай подержать беглецов в зиндане, потом распорядился подвесить их за ноги, рассчитывая на то, что правда, застрявшая в горле, сама упадет на землю, но когда из Серпухова до хана добрались еще двое новокрещеных татар и поведали о том же, Девлет-Гирей распорядился выпустить узников, приветил их ласковым словом во дворце и подарил каждому из них по турецкой сабле.

Поговорив с перебежчиками час, он легко убедился в том, что ненависть к царю Ивану у них истинная. Крещеные татары отдавали себя в заложники, уверяли в том, что сумеют провести хана со всем его воинством к самой Москве неузнанными, и если на своем пути крымское воинство повстречает хотя бы одну заставу, Девлет-Гирей волен отрубить им головы. И только в способе расправы над русским царем хан не находил с перебежчиками единодушия: крещеные татары желали рвать Ивана на части, если тот угодит в полон, Девлет-Гирей имел желание куда более скромное – довести до Крыма государя в железной клетке, а потом запросить за пленника с опришной Думы великий выкуп.

Сначала Девлет-Гирей послал к Москве большой отряд, а затем сам появился на Оке со всем своим воинством. Хан мог бы свернуть в глубокий овраг, дожидаться темноты и, укрывшись покрывалом ночи, переправиться невидимым через реку.

Однако крымский господин предстал перед станишниками во всей своей мощи и тем самым обрек их на смерть.

Глава 5

Печаль о разгроме южной московской Украйны долетела до стольного града подобно пущенной стреле. Горькая весть острым жалом врезалась во врата дворца, встряхнула привычную размеренную жизнь его обитателей, и тремя днями позже навстречу «окаянному басурману» выступили полки Ивана Сельского да призванного из опалы земского воеводы Михайлы Воротынского.

Сам же государь с опришной дружиной отбыл в сторону Серпухова собирать полки.

Хан оказался ловок, свое огромное воинство он вел по просторам Руси с той проворностью, с какой зрячий движется в толпе слепцов. Нигде хан не был узнан, но с каждого города, где он появлялся, отсылал русскому государю гонцов, которые неизменно тревожили царя единственной фразой:

– Великий крымский хан Девлет-Гирей повелел сказать тебе, царь Иван, что он в твоих просторах и прибыл в твой дом, на Русь, за твоей головой!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.